Родовое проклятье

Автор:
Анастасия Туманова

Родовое проклятье

Анастасия Туманова

Королева исторического романаСёстры Грешневы #1

Семья Грешневых всегда была предметом пересудов уездных кумушек. Еще бы: генерал Грешнев привез с Кавказа красавицу черкешенку Фатиму и поселил ее у себя в доме. Она родила ему сына и трех дочерей, таких же ослепительно красивых, как сама. А потом ее нашли в реке, генерала – в собственной спальне с ножом в горле. С тех пор Грешневых словно кто-то проклял: беды валились на них одна за другой. Анна, Софья, Катерина… Как же молодым графиням избавиться от родового проклятья? Ведь они ни в чем не виноваты… Ранее книга издавалась под названием «Мы странно встретились»

Анастасия Туманова

Родовое проклятье

© Туманова А., 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Глава 1

Сестры Грешневы

Калужские леса – темные, дремучие, обманные. Просвеченный солнцем, радостный березняк незаметно уведет в сумрачный ельник, солнечная тропинка провалится в глубокий овраг, широкая просека заманит в сырое болото, в глухой бурелом, где ухает филин, где и солнца не увидишь из-за густых ветвей. Мало кто из деревенских решался забираться в сердце леса, сыроежки да рыжики ходили искать в березовую рощу. Но лето 1878 года выдалось дождливым, и после яблочного Спаса лесные пни обсыпало опятами, по склонам оврагов вылезли лисички, в папоротниках повыскакивали боровики, и прочего гриба – груздей, подосиновиков, подберезовиков, волнух – народилось в этом году видимо-невидимо. Соблазн был велик, и десяток девок посмелее из бывшего господского села Грешневка все же осмелились забраться поглубже в лес.

К вечеру все корзины были полны, все короба набиты доверху, и даже в подвязанных фартуках девок лежали грибы. Возвращались уставшие грибницы медленно. Не было сил даже завести песню, и девки молча слушали, что рассказывает долговязая, худая и черная, как цыганка, Пелагея:

– А вот еще баушка сказывала, что по осени в нашем бору лешие выть начинают. Тошно им, вишь ли, что лето кончается, вот они и мечутся по буеракам-то и завывают, как души нераскаянные. А то еще как почнут по ельникам носиться – сучья трешшат, ломаются, ровно войско ломится… Ух, страсти-то! Крещеному человеку вовсе нельзя в такие дни по бору шастать. Вот мой дед Фома Григорьич однова на Арсения…

Внезапно рассказчица смолкла на полуслове и остановилась как вкопанная. Замерли и другие. Потому что из густых зарослей орешника раздался вдруг высокий, пронзительный вой.

– Ба-а-атюшки святы… Волк! – прошептала толстая Василиса, роняя корзину. Золотистые лисички посыпались на траву.

– Ништо… – севшим голосом сказала Пелагея, шаря вокруг себя в поисках палки. – Летом волки добрые. А это, может, совсем и…

Договорить она не успела: вой повторился. На этот раз он был еще жутче и заунывнее и совсем не похож на волчий. Перепуганные девки стояли не двигаясь. Внезапно со стороны болота, из камышей, послышались равномерные глухие хлопки: «Ух… ух… ух…» – словно кто-то отряхивался, выбираясь из трясины.

– С нами крестная сила… – прошептала бледная Пелагея. – Чур меня, чур, рассыпься…

Но жуткие хлопки не смолкали. В орешнике завыло с новой силой. А когда из зарослей папоротника с утробным ворчанием вдруг поднялось и пошло прямо на девок что-то огромное, безглазое, мохнатое, страшное, – тут уж грешневские дали стрекача. Неслись по кочкам очертя голову, задрав подолы, из которых сыпались грузди, мелькая голыми ногами и крича дурниной. Брошенные корзины и короба остались валяться на елани. Толстая Василиса мчалась последней, и ее истошные вопли: «Леший, ой, мать-заступница, леший!» – долго еще звенели в сыром воздухе.

Когда последние крики смолкли вдалеке, «леший» выбрался из папоротников, резво подбежал к брошенным корзинам и сбросил с головы вывернутый наизнанку овчинный кожух. Теперь это был уже не леший, а Софья Николаевна Грешнева, семнадцати лет от роду, местная помещица. На ней было старое, местами заплатанное, насквозь мокрое от росы серое платье, из-под подола виднелись босые ноги, прическа рассыпалась, и в черных, вьющихся волосах мелькали желтые листья.

– Вот это удача! – обрадовалась она, глядя на грибы. Обернувшись, крикнула: – Эй, Катя! Марфа! Выходите!

Ветви орешника раздвинулись, и на опушку вышла младшая сестра Софьи, пятнадцатилетняя Катерина Грешнева. Сестры были похожи: обе высокого роста, зеленоглазые, смуглые. Но красота старшей была спокойнее и мягче. Каштановые волосы в беспорядке вились и сыпались по плечам, миндалевидный разрез глаз напоминал о ее матери – черкешенке, привезенной генералом Грешневым с кавказской войны. Из трех сестер Грешневых Софья более всех была похожа на мать. У младшей, Катерины, – отцовский, жесткий взгляд таких же зеленых, как болотная трава, глаз, отцовский же твердый, выдающийся вперед подбородок, тонкие губы, портящие нежность полудетского лица, непокорные черные волосы, торчащие во все стороны из-под повязанного низко,

по-деревенски, платка.

Поймав взгляд сестры, Катерина недобро усмехнулась, поднесла сложенные воронкой ладони к губам – и по притихшему перед дождем лесу снова пронесся продирающий по коже вой.

– Будя завывать-то, барышня… – басом сказали из камышей, и на прогалину выбралась, на ходу отжимая мокрый подол, девка с растрепанной косой. Коса была рыжая, девка – коренастая, веснушчатая и некрасивая, но сощуренные глаза с толстыми веками поглядывали весело. Когда большой рот девицы растянулся в улыбке, она стала похожа на лягушонка.

– Ох, богаты мы сегодни… – садясь на корточки перед грибами, протянула она. – Мы эти груздочки-то посолим, посолим… А опяточки-то сквасим… А остальное-то на базаре продади-и-им… Пособляйте, барышни!

Софья с Катериной, по-деревенски подоткнув подолы, принялись сгребать рассыпанные грибы обратно в корзины.

Поодаль, в березняке, переминалась с ноги на ногу одноглазая кобыла, запряженная в телегу с сеном. Марфа ловко перекинула поводья, вывела кобылу на дорогу, расчистила место в телеге. Вскоре грибы были загружены и тщательно замаскированы сеном. Марфа взгромоздилась на телегу, пробасила: «Ну-у-у, дохлятина!», и кобыла, фыркнув, тронулась с места.

Лес кончился, тропинка превратилась в широкую грязную дорогу с залитыми дождем колеями. Дорога вилась между полями, местами покрытыми скошенным жнивьем, местами уже распаханными под озимые. На холме темнела колокольня сельской церкви, со стороны пруда доносилось мычание: там паслось стадо. Навстречу попадались деревенские. Они давным-давно были вольными, но по привычке, встречаясь с господами, мужики стягивали шапки, а бабы низко кланялись. Кланялись, впрочем, пряча улыбку: помещицы Грешневы были такими же нищими, как их бывшие крепостные. Софья улыбалась в ответ. Катерина, глядя в сторону, хмуро молчала. Марфа, понукая лошадь, ворчала без остановки.

– Барышни, конечно, меня, дуру безграмотную, и не слушать могут… Они, конечно, и сами лучшей разумеют… Но только что же это за времена наступили,

ежели господа на большую дорогу разбойничать пошли, ась? Софья Николаевна? Другим разом, может, и дилижансы останавливать пойдем? Купцов резать? Один раз я на вашу придумку согласилась, но боле – не возьмусь! Вот воля ваша, а не возьмусь! Ить поймают – прибьют до смерти, не поглядят, что господа!

– В другой раз я новое придумаю, – спокойно, с улыбкой отозвалась Софья.

– Ты, Марфа, не бурчи. Есть-то зимой хочешь?

– Вестимо…

– Вот и помалкивай. Мы тоже хотим.

Марфа, насупившись, умолкла. Барышня была права.

Когда-то имя графа Грешнева гремело на весь уезд. Ему принадлежали все окрестные деревни и большое село Грешневка под Юхновом, в огромный дом с античными колоннами съезжалась на именины хозяев вся местная знать, закатывался фейерверк, выступала крепостная труппа, девки в прозрачных кисейных покрывалах, как могли, изображали танцы одалисок, от охотничьих забав дрожали поля мужиков, играл военный оркестр, и рассказы о грешневских балах обсуждались в салонах обеих столиц. Николай Петрович Грешнев был мечтой всех незамужних девиц в округе. Несмотря на зрелый возраст, он был холост, имел косую сажень в плечах, головой задевал все притолоки в доме, замечательно танцевал и мазурку и котильон и, склонив к плечу партнерши буйнокудрявую голову, мог, блестя зелеными глазами, нашептать такое, что барышня таяла, млела и готова была уже делать предложение сама. Грешнев, впрочем, свататься не торопился, а родители девиц не понуждали дочерей давать неотразимому графу надежды. На это была довольно весомая причина. Имя сей причины было – Фатима.

Генерал привез ее с Кавказа – безмолвную, не знающую ни слова по-русски, с ног до головы закутанную в черное покрывало, – и поселил в пустующей после смерти матери женской половине дома. К гостям генерала Фатима никогда не выходила, и те знали о ней лишь со слов своих крепостных, а те, в свою очередь, – по рассказам дворни Грешнева. Было известно, что черкешенка необыкновенно, ослепительно хороша собой, всегда тиха, всегда молчит, что многочисленной прислуги, предоставленной ей Николаем Петровичем, она

смертельно боится, закрывает лицо лоскутом, целыми днями сидит на затянутой царской парчой оттоманке и смотрит в стену. «Ведьма!» – клялись дворовые девки, боящиеся Фатимы не меньше, чем она – их. «Ведьма, точно!» – подтверждали мужики, хоть раз увидевшие проблеск черных, длинных нерусских глаз без белка. «Боже, какой мезальянс! – вздыхали барышни, наслушавшись рассказов своих горничных. – Николай Петрович, бедный, нуждается в спасении…»

Спасали как могли: обещали все танцы из бальной книжечки, читали нараспев, с намеком, стихи Пушкина, те самые «Ах, обмануть меня не трудно…», отчаянно, вопреки наказам матушек, делали глазки из-за вееров, а самые смелые даже жали руку и устраивали показ ножки из-под словно невзначай приподнятого подола. Но Грешнев лишь делал глазки в ответ, читал в свою очередь Дениса Давыдова «О, пощади!..» и, изверг и злодей, предложений никому не делал. В конце концов пыл девиц начал угасать, а когда, по сведениям из тех же деревенских источников, пленная черкешенка разрешилась черноглазым мальчиком, а через год еще и девочкой, невесты махнули на Грешнева рукой: безнадежен.

Годы шли, генерал старел, Фатима все так же мелькала тенью в задних комнатах дома. К ней привыкли, перестали бояться. Мамки и няньки возились с детьми, такими же, как мать, темноволосыми и смуглыми, такими же, как отец, зеленоглазыми: старшим Сергеем и тремя дочками: Анной, Софьей и Катериной. И никто, даже бессменный камердинер генерала Акинфич, даже его верная нянька Лукерья Никитишна, не знали, что происходит между генералом и его невенчанной женой. Они не выходили вместе даже прогуляться по усадьбе, не садились рядом за стол, никто не видел их не только нежничающими, но и просто беседующими. Ночью генерал уходил на половину Фатимы, но из-за запертой двери в опочивальню не доносилось ни звука, как ни прислушивались отчаянные девки. За двенадцать лет совместной жизни Фатимы и Грешнева до крепостных донесся только один их разговор – быстрый, на непонятном гортанном языке, – когда генерал отправил сына в Петербург, в пажеский корпус. Фатима, кажется, была против этого, но Грешнев настоял, и она умолкла снова: теперь уже навсегда.

Дети, в отличие от матери, росли живыми и веселыми, охотно занимались с выписанными отцом из столицы учителями, вместе проказничали, учились ездить верхом. Отец дал им свое имя и титул, признал законными, и всех четверых ждало блестящее будущее. Но… грянуло несчастье, толки о котором

не смолкали в Калужской губернии долгие годы спустя.

Однажды летом Николай Петрович не вышел к завтраку. Поскольку обычно генерал вставал рано, дворня забеспокоилась. Будить, однако, не рискнули, прождали до полудня, затем послали в барскую опочивальню Акинфича, который вернулся с известием, что дверь заперта изнутри. Долго стучали и звали, не достучались, ломать дверь пожалели, внук Акинфича Степка по лестнице влез в окно, через мгновение с диким воплем сверзился мимо лестницы из окна на клумбу с розами и заорал, что «барин лежит зарезавшись и вся постеля в кровище».

Тут уж взялись ломать двери. Представившаяся картина действительно была страшной: поперек постели лежало тело генерала в ночной рубашке, залитой кровью. Из горла Грешнева торчал столовый нож, и было очевидно, что загнал его туда не сам генерал. Тут сообразили, кинулись искать Фатиму – и не нашли. Объявили поиски по всей губернии, но через три дня черкешенка нашлась: ее раздутое тело всплыло тремя верстами ниже по Угре. Власти учинили дознание, но толком никто ничего сказать не мог. Дворовые, искренне любившие своего барина, только плакали: «Вот она, кровь-то басурманская! Столько лет с ним прожила, а все злобу, змеища, таила! Улучила время – и зарезала! И сама, проклятая, утопилась!» Никто так и не узнал, что происходило все эти годы между пленной черкешенкой и блестящим генералом, что толкнуло Фатиму на смертный грех, почему она кинулась в Угру, не попытавшись скрыться и не думая об оставленных детях, старшему из которых, Сергею, было всего одиннадцать лет, а младшая, Катерина, еще лежала в люльке с соской.

После генерала осталось завещание, по которому все немалое состояние отписывалось старшему сыну по достижении им совершеннолетия, а также указывались суммы, идущие в приданое дочерям. Опеку над маленькими детьми принял дальний родственник Грешнева, тайный советник Ахичевский, вызванный срочной депешей из Москвы. Человек пожилой, семейный и занятой, Ахичевский не мог долго заниматься семьей погибшего родственника. Он вернул Сергея в пажеский корпус, отвез старшую дочь, Анну, в Смольный институт, воспитание младших девочек перепоручил Никитишне и гувернантке мадемуазель Вильон и с облегчением вернулся в столицу.

Время шло, дети росли. Сергей закончил корпус, поступил в кавалерийское училище, отслужил несколько лет в Симбирской губернии и вышел в отставку. Тайный советник Ахичевский к тому времени умер, и Сергей стал полноправным

хозяином и распорядителем грешневских богатств. Очень похожий на покойного отца, Сергей тем не менее не унаследовал ни его шарма, ни его ума. Армейская служба в пыльном, забытом богом городке, однообразное течение дней, заполненное лишь муштровкой солдат, пьянством и карточной игрой, испортили его. В родное гнездо Сергей Грешнев вернулся лишь потому, что служба в полку ему осточертела, но и другого занятия для себя он не сумел найти. Заниматься хозяйством он не видел смысла; недолго думая распродал принадлежащие ему деревеньки, оставив лишь то, что полагалось в приданое сестрам, и уехал в столицу вознаграждать себя за годы армейской лямки. Через полгода он вернулся: злой, обрюзгший, без копейки денег и – законченный пьяница. Посылать в пансион и учить младших девочек было уже не на что. Несколько спасла положение старшая сестра Анна, которая к тому времени окончила Смольный и жила в Москве. В уезде не таясь говорили о ее связи с Петром Ахичевским, сыном покойного опекуна, который сразу после выпуска предложил ей содержание, и Анна его приняла. Приехав в родной дом, Анна произвела обыск в комнатах покойного отца и брата, забрала все оставшиеся ценные бумаги, деньги, завещание отца и объявила брату, что он больше ни копейки не получит ни на карты, ни на женщин.

Скандал был страшным, притихшая прислуга забилась в людскую и слушала, как орут на весь дом, не выбирая выражений, родные брат и сестра. Сначала выясняли отношения по-французски, потом перешли на русский, но суть осталась та же: Анна уехала, забрав с собой оставшиеся средства, которых, впрочем, было совсем немного.

Через несколько лет Грешневы оказались нищими. Последнюю деревню продали за долги соседям, родовое имение уже давно было заложено и перезаложено, и брат с сестрами жили на крошечные проценты по ценным бумагам и те деньги, что изредка привозила Анна. Сергей совершенно опустился, пил с мужиками в грешневском кабаке, проигрывал в карты платья сестер и вещи из дома. Подросшая к тому времени средняя сестра, Софья, пыталась сражаться со старшим братом, но безуспешно. Приезжала из Москвы Анна, ругалась, как кухарка, била пьяного Сергея скалкой, совала Софье ассигнации, наказывая получше прятать, все время клялась приехать надолго и заняться наконец хозяйством, но Ахичевский требовал ее присутствия в Москве, и отказать ему Софья не могла: потерять деньги любовника означало попросту пойти по миру. Вечерами Софья и Анна, обнявшись, плакали. Катерина, от которой слезинки нельзя было добиться даже во младенчестве, с сухими глазами молча смотрела в стену.

«Я тебе мужа найду… – обещала Анна, поворачивая к свету свечи тонкое, смуглое, большеглазое лицо сестры, красивое даже в слезах, и приглаживая ее растрепавшиеся кудри. – Ты ведь лучше меня, право, в тысячу раз лучше!»

«Найди, Анечка… – потерянно говорила Софья. – Только поскорее, за-ради Христа. Может, успеем Катю выучить. Клянусь, за кого угодно пойду, хоть за козла…»

Разговоры о замужестве были бесполезными, и сестры понимали это. Для того, чтобы выдать Софью замуж, нужно было вывозить ее, но ей не в чем было появиться даже на скромном деревенском балке у соседей Ляпищевых. Два оставшихся платья сплошь покрывали заплаты, ткань разлезалась под пальцами. Зимние ботинки были у сестер одни на двоих. К счастью, с ними оставалась Марфа, внучка верной Никитишны, разделившая с барышнями заботы о хлебе насущном. Вместе с Марфой сестры Грешневы копались в огороде, собирали грибы и ягоды в лесу, вечерами шили на продажу белье. Пошитое Марфа отвозила в Юхнов, продавала в модную лавку и привозила деньги барышням.

«Ништо, Софья Николаевна, не пропадем! – подбадривала она. – Может, вперед я замуж выйду, так я вас, право слово, не оставлю!»

Софья только улыбалась: охотников на Марфу не находилось. Приданого, так же, как и за ее барышнями, за ней не было никакого, зато имелся вреднющий характер и неистребимая страсть жить своим умом. Осторожные грешневские мужики сватать ее за своих сыновей не спешили и только плевались вслед, наблюдая, как Марфа в тяжелых охотничьих сапогах и со старой винтовкой генерала Грешнева за плечами шагает в камыши бить уток или проверять поставленные силки на зайцев. Марфа обладала почти мужской силой, и смеяться над ней в открытую побаивались.

Катерина, предоставленная самой себе, росла дикаркой. С утра до ночи, одетая хуже деревенских девчонок, босая, с кое-как заплетенными волосами, она носилась по округе, дралась с сельскими парнями, купалась с ними же в Угре, могла целый день ничего не есть, пробавляясь лишь ягодами черемухи и щавелем, и пропадом пропадала в лесу. Софья, занятая бесконечной работой, мыслями о деньгах и слежкой за братом, тянущим из дома последнее, не могла уделять внимание младшей сестре и едва сумела выучить ее грамоте, четырем арифметическим действиям, нескольким стихотворениям Пушкина и болтовне на

плохом французском. Когда пьяный брат появлялся дома, Софья только махала рукой, Катерина же поднимала страшный крик, лезла на Сергея с кулаками и однажды, отлетев в угол от его ответного тумака, ударила его сковородником по голове так, что тот четыре дня лежал в постели. Они ненавидели друг друга, и во время братниных запоев Софья не решалась оставлять его наедине с младшей сестрой, боясь, что та убьет его.

…Поля кончились, по сторонам дороги замелькали черные, покосившиеся домики Грешневки. Марфа хлопнула кнутом над головой кобылы, и с колокольни церквушки, хрипло крича, взвилась стая ворон. Впереди показались кущи лип, заслонявшие старый господский дом с потрескавшимися колоннами у входа, облупившейся голубой краской на фасаде и черными от сырости стенами.

– Тпру-у-у, стоять, дохлая! – закричала Марфа, натягивая вожжи. Спрыгнула с телеги и начала открывать ворота. Обернувшись к барышням, хитро подмигнула: – Я в конюшне разберу.

– Делай, Марфа, как знаешь, – устало сказала Софья. После нескольких часов, проведенных в сыром лесу, ее знобило, сильно болела голова. Катерина обеспокоенно посматривала на сестру, но молчала.

В огромном доме – пусто, темно, нетоплено. Из углов сумрачно смотрят освещенные лампадами святые, под изразцовой печью скребется мышь. Софья принесла из сеней охапку дров, по одному затолкала поленья в черный зев печи, и вскоре золотистые искры побежали по бересте. Выпрямившись и прикрыв дверцу печи, Софья весело крикнула сестре:

– Катя, давай самовар ставить! Еще варенье осталось!

Катерина не ответила. Софья, недоумевая, позвала еще раз. Наверху яростно грохнула дверь, послышался быстрый, злой перестук босых ног на лестнице, и Катерина с раздутыми, как у взбесившейся лошади, ноздрями, бледная, ворвалась в залу.

– Шаль забрал! – выпалила она с порога.

Софья, ахнув, кинулась в комнаты.

Сестра оказалась права. В комнате Софьи был настежь распахнут старинный шифоньер с зеркальной дверцей, и выброшенные из него старые, латаные-перелатаные вещи кучкой лежали на полу. Софья упала на колени рядом с тряпьем и в мгновение ока перевернула его сверху донизу. Затем закрыла лицо руками и заплакала. Катерина, стоя у стены, с перекошенным от ярости лицом что-то беззвучно шептала.

По деньгам потеря была незначительной: утащенная братом в кабак персидская шаль была старой, местами потертой и посему не особенно дорогой. Но это была единственная вещь, оставшаяся от покойной матери, и Софья каждый день перепрятывала переливающийся сине-зеленый сверток в новое место, молясь, чтобы Сергей не обнаружил тайника. То-то он вчера ходил за ней по дому как пришитый…

– Господи… Ну зачем я ее Ане не отдала… – горестно прошептала Софья, садясь на пол. Но подскочившая Катерина с такой силой дернула сестру за руку, что та чуть не опрокинулась на спину.

– Идем! Сейчас, говорю, идем!

– Куда?.. – растерялась Софья.

– В кабак идем! Может, сволочь, не продал еще!

– Катя, как ты ужасно ругаешься… – машинально пробормотала Софья, ища глазами ботинки. Катерина, метнувшись в соседнюю горницу, вынесла старые, растрескавшиеся прюнелевые боты и бросила их на пол:

– Живо!

Через несколько минут сестры Грешневы – одна в ботинках на босу ногу, другая совсем босиком – быстро шли, почти бежали через деревню. Со стороны леса двигалась огромная черная туча, в ожидании ливня попрятались и ребятишки, и собаки, даже куры были загнаны по дворам, и деревня стояла безлюдной. Впрочем, одна рябая курица почему-то оказалась на улице и меланхолично разрывала лапой навозную кучу. Катерина, быстро осмотревшись по сторонам, предприняла было молниеносное движение в сторону пеструхи, но Софья на ходу поймала сестру за локоть, и курица с истерическим кудахтаньем кинулась

под плетень.

– Катя! Да что же это! Ты как цыганка! А если бы увидал кто?! Стыд какой – графиня Грешнева кур ворует!

– А хоть бы они сдохли все… – зло пробормотала Катерина, с сожалением провожая глазами улепетывавшую курицу, и прибавила ходу. Из-под ее босых пяток веерами летела грязь, и когда сестры подбежали к деревенскому кабаку – длинному темному строению с ярко горящими окнами, – ноги Катерины были измазаны до колен.

– Подожди, я здесь отмоюсь, – шагнула она было к обширной луже у крыльца, но Софья задержала ее:

– Не надо. Позориться только – к мужикам босой входить… Я одна.

– Да что ты одна!.. – вспылила было Катерина, но Софья сурово сказала:

– Ты – младшая сестра! Слушайся! – и скользнула за разбухшую тяжелую дверь. Катерина с сердцем выругалась и побежала вдоль стены, подпрыгивая под каждым окном. Она даже не заметила стоящей у конюшни богатой тройки, которую нечасто можно было увидеть в нищей Грешневке. Тройку распрягали дюжие парни, один из них похабно засмеялся и что-то крикнул вслед Катерине, но та не стала отвечать.

После кромешной темноты сеней, по которым пришлось пробираться на ощупь, свет нескольких керосиновых ламп так ударил Софье по глазам, что она замерла на пороге, беспомощно моргая и пытаясь найти глазами брата. Но единственное, что ей удалось заметить, – это то, что кабак полон народу. Это было непривычно для обычной, непраздничной среды, но, когда в глазах перестали плясать зеленые пятна, Софья поняла, что к чему: за самым большим (и чистым) столом, который кабатчица Устинья даже расщедрилась покрыть скатертью, под образами, сидел незнакомый Софье человек, судя по лохматой бороде и сапогам бутылками – из купцов. Эта всклокоченная, с запутавшимися перышками лука борода старила его, но по черным, шальным от выпитого, совсем молодым глазам купца было заметно, что ему не больше тридцати. Встретившись взглядом с вошедшей Софьей, он широко улыбнулся и что-то крикнул, но она не услышала этого, потому что увидела шаль. Сине-зеленую переливчатую шаль

матери на широких, как у мужика, плечах кабатчицы.

Устинья как раз выносила из-за стойки пузатую четверть вина, обнимая ее нежно, как ребенка, и, когда Софья, подлетев, с силой вцепилась в ее плечо, ахнула и прислонилась к стене:

– Охти, барышня! Чего толкаетеся? Чичас бы прямо на пол и сбрыкнула таку драгоценность!

– Снимай, бесстыжая! – шепотом приказала Софья, вцепившись в чуть шершавую, смявшуюся под ее рукой ткань. – Бога побойся! Последняя память от матери…

Устинья в первую минуту растерялась и застыла, недоуменно глядя желтыми глазами без ресниц в бледное лицо Софьи. А затем эти глаза сузились в гадкие щелочки, грудь под заляпанной щами и вином кофтой выкатилась вперед, и Устинья завизжала на весь кабак:

– Грех вам, Софья Николавна, постыдились бы! За ваш лоскут тертый, который и в руки взять совестно, живые деньги плочены! Сергей Николаичу честь по чести отданы, при свидетелях! Да вон же они и сами сидят, пусть подтверждение дадут!

Не выпуская из рук края шали, Софья обернулась и поняла, что Сергей Николаевич, сидящий у стены за залитым вином столом, никакого подтверждения дать уже не в состоянии. Впрочем, брат даже и не сидел, а полулежал, опираясь боком о бревенчатую стену, и на призыв кабатчицы не открыл глаз. «Господи, ведь домой еще вести…» – мелькнуло в голове у Софьи.

– Отдай… – хрипло, уже безнадежно попросила она, сжимая в руке край шали. – Зачем она тебе, старая, вот-вот рассыплется. Я… я тебе денег за нее дам.

– Дадите вы, как же, – с нескрываемой злостью сказала Устинья, резко вырывая у Софьи шаль. – С каких таких барышей? У вас в амбаре давеча мыши в бабки играли! Не босиком ли прибежамши, барышня? Ножки не застудили?!

Она намеренно громко выкрикнула последние фразы, и те, кто был еще не очень пьян, с готовностью загыгыкали, повернувшись к Софье. Молодой черноволосый купец поставил на стол граненый стакан и снова с интересом посмотрел на Софью, но та не обратила на это внимания. В глазах потемнело – не столько от пьяного смеха мужиков, сколько от того, что брат Сергей даже не открыл глаз.

«Мерзавец…» – горестно подумала она, разжимая ладонь. И тут же, повинуясь внезапному порыву ярости, сжала ее еще сильней и потянула на себя шаль. Старая ткань затрещала, но выдержала. Кабатчица возмущенно заголосила, ловя ускользающую обновку, но Софья, схватив со стойки полупустую бутылку, ударила ее по руке. Вино плеснуло ей на платье, залило пол, но Софья не заметила этого – как не заметила и внезапно наступившей тишины вокруг, и того, каким растерянным вдруг стало лицо Устиньи. В горле холодными пузырьками клокотало бешенство.

– Вот шагни только ко мне, – спокойно, холодно сказала Софья, сжимая в руке скользкое горлышко бутылки. – По голове вот этой самой четвертью ударю. А потом – хоть по Владимирке.

– Оченно надо… – пробормотала Устинья, юркая за стойку. – По Владимирке из-за пустяков таких… Да носите вы свою рванину сами, барышня, мне и даром не требуется… А только за угощение платить надобно! Мне лишнего-то ни к чему, только и в убыток торговать не станем…

– А ты не торгуй, – глядя в сторону и все еще сжимая бутылку, посоветовала Софья. – Сколько раз мы тебя просили – не продавай ты ему вина! А ты, проклятая, все суешь да суешь.

– Так тем живу, барышня, тем живу! – снова осмелела Устинья. – А вы постыдились бы честную копейку у одинокой женщины забирать! Креста на вас нет, вот что я скажу! Вот урядник приедет, ужо я ему пожалуюсь! Думаете, коль господа, так и управы на вас не сыщется? Да я…

– Да молчала б ты, дура, – вдруг раздался из-за спины Софьи густой, веселый и пьяный бас, и та, вздрогнув, обернулась. Молодой купец, сцепив руки на пояснице, стоял позади нее и смотрел в упор пьяными, черными, блестящими глазами.

– Возьми да умолкни, – велел он кабатчице, кидая на стойку серебряный рубль. – От визгу твоего в голове содроганье одно.

– Больше дадено… – заикнулась та, и купец, не глядя, кинул еще несколько монет.

– Напрасно вы это, – хмуро сказала Софья, видя, как серебряные рубли, вертясь, раскатываются по стойке. – Эта шаль не дороже полтинника стоит.

– Разве? – удивился тот. – А что ж ты тогда из-за нее всколыхалась так, ненаглядная?

Софья поставила на стол бутылку. Повернулась к купцу и, глядя в его черные, без блеска, кажущиеся из-за этого сумрачными, глаза, отчеканила:

– Знай свое место, мужик! Я тебе не ненаглядная! Я – здешняя помещица, Софья Николаевна Грешнева!

– Вона куда! – ничуть не испугавшись, протянул купец. – Ну, а мы люди торговые. Федор Пантелеев Мартемьянов. Не желаете ли водочки за знакомство?

– Пошел вон, – сказала Софья. Мартемьянов, разумеется, и с места не тронулся. В кабаке уже давно никто не пил, не ел и не бранился с соседями: все, предвкушая бесплатное развлечение, таращились на барышню и заезжего купца. Устинья даже позвала из задних комнат сожителя, кривого старика с обширной плешью, годившегося ей в отцы, который сонными глазами уставился на происходящее через стойку.

– Ох, какие глаза у вас, барышня, погибельные! – весело заметил Мартемьянов. – Как вода в пруду под солнцем, право слово! Да не топорщитесь вы так, не обижу небось. Но только и не выпущу.

– Пусти, – обмирая, понимая, что он не шутит, сказала Софья.

– Ан нет! – усмехнулся купец. Он был такой огромный, что и думать было нечего оттолкнуть его и умчаться. В полном отчаянии Софья взглянула на брата, но Сергей сладко спал, прислонившись к стене. Его поддерживал плечом один из

людей Мартемьянова, темноволосый широкоплечий парень в новой косоворотке. В его руках была гитара с навязанным на гриф алым бантом, и он слегка пощипывал струны, извлекая из них сбивчивую «камаринскую». Поймав полный смятения взгляд Софьи, он улыбнулся и слегка поклонился. Несмотря на охватившую ее панику, Софья отметила благородную сдержанность этого поклона: словно отдавший его парень был не приказчиком, а по меньшей мере юнкером. И тут ее осенило.

– А ну, гитару мне сюда! – звонко, на весь кабак, воскликнула она. – Петь вам буду! Что уставились? Гитару, живо! Не каждый день вас барышни веселят!

Мужики загудели, загоготали, повскакивали с мест. Темноволосый парень поднялся с места, умудрившись аккуратно прислонить бесчувственного Сергея к стене, и галантно передал Софье гитару. Та приняла ее, машинально пробежалась пальцами по струнам, проверяя настройку. Мысль у нее была одна: любой ценой отвлечь Мартемьянова, чтобы он отошел от двери, а там – бегом в сени, и на двор, и прочь отсюда… Нипочем не догонят!

Купец, впрочем, оказался вовсе не дураком и от двери не отошел. Мельком Софья подумала, что в крайнем случае ударит его гитарой по голове. Инструмент был кабацкий, плохой, две струны нещадно врали, но возиться с настройкой не было времени. Софья взяла было аккорд веселой песни «По улице мостовой», но от растерянности и испуга запела совсем другое и спохватилась, когда уже поздно было останавливаться:

Что ты жадно глядишь на дорогу

В стороне от веселых подруг,

Знать, забило сердечко тревогу, —

Все лицо твое вспыхнуло вдруг…

Пела Софья хорошо и знала об этом. Еще в детстве, когда был жив отец и старшая сестра брала уроки фортепьяно и сольфеджио у выписанной из-за границы итальянки, мадам Джеллини, крошечную Соню ничем нельзя было на время этих уроков выманить из комнаты. Она сидела тише мыши в огромном, почти целиком скрывающем ее кресле у окна, слушала переборы фортепьяно, вокализы сестры и мадам Джеллини, а когда урок заканчивался, безошибочно воспроизводила услышанные упражнения. «Брависсимо! – восхищалась мадам

Джеллини. – Ваш отец должен будет отправить вас, мадемуазель Софи, в Италию, учиться бельканто!» Сестра Анна восхищенно аплодировала, сама Софья гордо улыбалась и знала, что непременно, непременно поедет в Италию. Ах, детство, золотое, безоблачное, беззаботное… Как все было просто и весело тогда, как не думалось о завтрашнем дне! И даже в страшных снах не могло привидеться то, что случилось с ними. «Мама… – подумалось горестно и не в первый раз. – Зачем же ты так? С отцом, с нами?»

Гитара смолкла, Софья опустила ее на колени. В кабаке стояла мертвая тишина. Софья удивленно смотрела на неподвижные, заросшие бородами лица мужиков, на зажмуренную физиономию Устиньи с одинокой слезой на пухлой щеке, на ошалелые глаза мартемьяновских молодцов. Тот темноволосый парень, что подал ей гитару, даже встал со своего места и стоял, весь подавшись вперед, в упор глядя светло-серыми глазами. «Глаза у него какие чудные… – почему-то подумала Софья. – Сам темный, а глаза – светлые, странно…» И удивления в этих глазах не было, лишь пристальное внимание и теплота, от которой по спине у Софьи побежали мурашки. Забыв о всяких приличиях и даже о Мартемьянове, она молча, без улыбки смотрела на темноволосого, светлоглазого приказчика. А тот смотрел на нее.

Из этого оцепенения Софью вывело копошение в углу и прозвучавший голос – знакомый до противности:

– Сонька, ты, что ли, воешь? Не п-позволю… Для кого стараешься, мерзавка?

– Замолчи, дурак, – устало сказала Софья, взглянув в мутные, бессмысленные глаза брата, только сейчас поднявшего голову со стола. Никто не рассмеялся, да и сама она не почувствовала никакого стыда. Только бесконечную усталость и отвращение.

– И то верно, обалдуй, не чеши языком, – прозвучал вдруг низкий голос Мартемьянова, о котором Софья совсем забыла и, услышав его, вздрогнула, как от удара.

– Это пошто же, барышня, этот мозгляк с вами говорит так? – поинтересовался купец, подходя вплотную (теперь и думать было нечего обежать его и скрыться). – Муж он вам, не пошли бог?

– Брат, – холодно сказала Софья, безуспешно пытаясь отвернуться от густого запаха сивухи. – Изволь пропустить.

– Да как же я тебя такую отпущу? – искренне, без тени насмешки удивился Мартемьянов, вытягивая руку и загораживая Софье дорогу. – Да я такого пенья ни в Москве, ни в Петербурге не слыхал, так куда ж я пущу тебя?

– Пошел во-о-он… – чуть не теряя сознание от омерзения, простонала Софья. В голове билось одно: «Не поможет никто… Не спасет… Никому дела нет… Дура, дура, сразу бежать надо было, а теперь…» А теперь горячие и очень сильные руки держали ее за плечи, запах сивухи душил, сбивчивый шепот обжигал ухо и шею:

– Едем, богиня! Едем, красавица! Брату твоему отступного заплачу сколько запросит! В Москву-матушку! Брильянтами завалю! Полное содержание дам, к зиме в Париж покатим! Поедем, матушка!

– Уйди… Уйди, ради Христа, да что ж это… – задыхаясь, умоляла Софья. От ужаса липким потом покрылась спина, она молотила кулаками в грудь купца, но это было все равно что лупить в медный чан – только что не гудело. В полном отчаянии она закричала:

– Сережа! Сережа!!! Помоги!!!

Какое там… Ей ли не знать, что после третьей рюмки Сергей лыка не свяжет… И вдруг случилось неожиданное – руки, держащие ее, разжались. Софья отпрянула – и, увидев, как Мартемьянов тяжело оседает на пол, поводя по сторонам бессмысленными глазами, завизжала в голос.

– Отставить истерику! – прозвучал вдруг жесткий, незнакомый голос, и, в смятении подняв глаза, Софья встретилась взглядом с сероглазым приказчиком. Тот бросил в сторону ручку от разбившейся о голову Мартемьянова глиняной корчаги, пинком ноги распахнул тяжелую дверь и приказал:

– Бегите немедля!

Софья кинулась в сени.

На темной улице лил ледяной дождь. Луны не было, окна домов не горели, и Софья помчалась наугад по мокрой, хлюпающей под ногами грязи. На окраине деревни завыла собака; чуть погодя ей ответил на пронзительной, тоскливой ноте волк из леса. Кто-то окликнул Софью, но она не ответила и лишь побежала быстрей. Горло, мешая дышать, сжимали рыдания, и из груди Софьи вырывались хриплые короткие вздохи. Холодный ветер сдернул с ее плеч шаль; каким-то чудом Софья смогла удержать ее. Но вот впереди уже светящееся окно родного дома, смутно белеющие столбы ворот. Софья перебежала темный, покрытый лужами двор, вскочила на крыльцо… и завопила от страха, столкнувшись с массивной фигурой, сжимавшей в руках ружье.

– Да что ж вы, Софья Николавна, так голосите-то? – испуганно спросила фигура, отшатываясь в сени. – Я это, я, Марфа! Вас искать тронулась! Не признали?

– М-м-марфа… – стуча зубами, еле выговорила Софья. Машинально спросила: – Зачем жжешь керосин, когда свечи есть? С чем на зиму останемся?

– Единым карасином сыт не будешь, барышня, – так же машинально отозвалась Марфа. И тут же озабоченно спросила: – И где это вы шляться-то изволили по грязи?

– А Катя разве не сказала? – снимая мокрую шаль, удивилась Софья.

– Скажут они, как же, – поджала губы оборочкой Марфа. – Убегли-то вместе с вами, да еще и не возвращалися.

– Как не возвращалась? Господи! Марфа! Да куда же она пропала? – Софья, присевшая было за стол, снова вскочила. – Который час?

– Да сидите уж, барышня! Поешьте лучше, там на столе вас картошка с грибочками дожидается! Уж сами себе подайте, а я схожу, поищу сестрицу вашу. Право слово, не барышня, а лешачка какая-то! Меня, знамо дело, не послушает, так хоть вас бы слушала! Али Анну Николавну, когда та приезжает! Куды… В одно ухо вкатывает, из другого выкатывается! Вот помяните мои слова… – Ворчание Марфы становилось все тише и тише и наконец смолкло совсем, сменившись звонким шлепаньем босых ног по лужам за окном: верная девка отправилась на поиски младшей барышни.

Оставшись одна, Софья тяжело села на стул возле застеленного потертой плюшевой скатертью стола и опустила голову на руки. Какое-то время она, казалось, не думала ни о чем: замерзшее, онемевшее тело жадно впитывало в себя тепло протопленного дома, и Софья чувствовала бездумное блаженство оттого, что все позади – и страх, и унижение, и холод, и промерзшие до костей ноги. Даже беспокойство за Катерину ощущалось слабее – да и куда, в самом деле, сестренка могла деться из Грешневки?

Софья сидела в бывшей бальной зале, когда-то сверкавшей сотнями свеч, зеркалами и натертым паркетом, а теперь освещавшейся лишь зеленой лампой, отбрасывавшей тусклый свет на скатерть. Кроме стола, в огромной комнате находился лишь старый, скрипучий диван рекамье, на котором ночевал пьяный Сергей, если у Марфы не было настроения волочить его на себе в спальню, и совершенно здесь неуместный старый шкаф, забитый книгами Николая Петровича, которые Софья все собиралась разобрать, а шкаф продать деревенскому старосте Андрону. Андрон давал за старинный шкаф пятнадцать рублей, прельстившись покрывавшими дерево резными узорами и тем, что шкаф, по преданию, когда-то принадлежал самому Григорию Потемкину, с которым дружил покойный дед Николая Петровича. Софья в благородное происхождение шкафа не верила, но пятнадцать рублей пришлись бы очень кстати: дров на зиму не было, и покупать их было не на что. Анна обещала привезти денег, и Софья ждала сестру со дня на день, но на эти небольшие средства им предстояло жить целую зиму. И жить впроголодь.

Не глядя, Софья придвинула к себе завернутый в полотенце горячий котелок. Достала тарелку голубого фарфора, деревянной ложкой наложила себе ароматно пахнущей картошки с рыжими лисичками, которые Марфа за серьезный гриб не считала и на соленья не расходовала. Еда была вкусная, сытная, как все, что готовила Марфа, но сейчас Софья не чувствовала ни вкуса, ни запаха. В голове бродили тяжелые, мутные мысли. Мысли, постоянно преследующие Софью: мысли о Грешневке, о деньгах, о будущем.

Она уже давно не мечтала о том, чтобы успешно выйти замуж, чтобы дать хоть какое-то образование младшей сестре, чтобы вразумить и заставить заняться хозяйством Сергея. Это было уже несбыточным чудом, наивным мечтанием, о котором и вслух-то говорить стыдно, – как давнее полудетское желание уехать учиться петь в Италию. Сейчас Софья беспрерывно думала о том, как прожить эту зиму – по всем приметам обещающую быть долгой и суровой. В подвалах лежали мешки с картошкой, стояли бочки с огурцами и грибами, банки с

вареньем – всё старания верной Марфы, в одиночку все лето провозившейся на господском огороде: сестры Грешневы не могли даже нанять ей нескольких деревенских девок в помощь. Дрова должны быть куплены на деньги от продажи потемкинского шкафа и на то, что заплатит галантерейная лавка в городе за вышитое белье и кружева. Заплатить по закладной дома собиралась Анна. И она же заплатит мужикам за вспаханные озимые – один бог знает, чего Софье стоило уговорить их распахать и засеять в долг. Бог – да староста Андрон, который, конечно, не просто так захаживал иногда по вечерам к Марфе «пить чай». Марфа после визитов Андрона ходила красная, злая, молчащая, изредка цедила сквозь зубы: «Кобелище старый…», и Софья не решалась ее расспрашивать. Да и что было спрашивать… Как будто Аня в Москве не делает того же самого, как будто не на эти деньги они живут и до сих пор еще чудом не померли с голоду. Бога надо благодарить хотя бы за это…

Поев и откинувшись на отчаянно завизжавшую спинку стула, Софья закрыла глаза – и только сейчас почувствовала, как ноют плечи. Проклятый купчина, наверняка остались синяки… да что уж теперь. Может, и зря отказалась, без злости, обреченно думала Софья, вспоминая шальные черные глаза Мартемьянова. Может, и надо было ехать. Она уже не такая высокочувствительная дура, какой была два года назад, когда приехала в Москву, в Столешников, в большой, сияющий дом сестры. Аня, в утреннем свежем платье, приняла ее со слезами и смехом, усадила пить чай из тонких, розовых фарфоровых чашек, а вечером, когда в большой зале было не протолкнуться от гостей, представила ее гусарскому корнету, имени которого Софья не расслышала, запомнив только, что фамилия у кавалера какая-то собачья. Тем не менее она протанцевала с корнетом две мазурки, вальс, кадриль и к концу вечера уже выслушивала признание в любви, которому не верила ни на грош: в приданом у нее, кроме долгов, уже тогда не было ничего. Но, когда гости разошлись, Анна, с темными кругами у глаз, уставшая и серьезная, пришла в спальню Софьи, села на постель и заговорила, глядя через ее плечо в окно.

Корнет Псоев очень богат. Он единственный наследник своего отца, владелец имений, нескольких доходных домов в Москве, глуповат, но добр и не жаден. Он предлагает хорошее содержание, собственную квартиру и прислугу, выезд, неограниченные суммы на булавки, и все это – невзирая на грядущую женитьбу: после Рождества корнет собирался обвенчаться с дочерью золотопромышленника Пархатова.

Софья должна понимать, что этот брак вынужденный, деловой, а ею Псоев был сражен наповал, и при разумном подходе она, Софья, сможет…

Больше Анна не могла сказать ничего, потому что у младшей сестры началась истерика. В одной рубашке Софья спрыгнула с постели на пол, кинулась к окну и, захлебываясь слезами и рыданиями, начала кричать, что ни секунды более не останется в этом доме, что босиком уйдет домой в Грешневку, что ее родная сестра превратилась в сводню и хочет распродать их с Катей по дешевке московским развратникам, но что она, Софья, еще помнит свое родовое имя, что она лучше умрет, чем пойдет на содержание, как какая-нибудь хористка, что она дворянка, что она может поступить на службу, на телеграф, на курсы и лучше пойдет в гувернантки, но не в камелии к бессовестному фанфарону с собачьей фамилией…

«На какой телеграф, дура?! – кричала ей в ответ сквозь злые слезы Анна. – В нашей дыре, за сорок верст от уездного города тебе телеграф приготовили?! В какие гувернантки, у тебя ни образования, ни знаний, три слова по-французски, два по-немецки и трижды восемь – сорок?! Я Смольный закончила с дипломом, три языка знаю, преподавать могу – и что я сейчас?! Такая же, как ты, была, когда меня старый Ахичевский вон на том диване зеленом, в зале… Опекун чертов… А потом, как он помер, Петька его! И – ничего, жива! И в добром здравии! Только ты вспомни, дурища, сколько мне лет! Мне двадцать один уже! Еще чуть-чуть – и старуха буду, и – не нужна! Что тогда с тобой будет, со всеми нами?! На какие деньги мы живем, это ты помнишь?! Графиня Грешнева!!!»

Потом рыдали уже вдвоем, обнявшись на полу и прося друг у друга прощения. Потом Софья, всхлипывая, заснула на плече старшей сестры, а та до рассвета сидела неподвижно и смотрела в черное окно, за которым метались на ветру голые ветви клена. Наутро Анна попросила Софью обо всем забыть, и та, облегченная и даже счастливая, уехала домой, в Грешневку.

«Вот тогда и надо было соглашаться!» – угрюмо думала Софья, глядя на бившийся от сквозняка огонек свечи. Все бы сейчас было – и деньги за вспашку, и починенная крыша, и институт для Кати, и даже дом бы выкупили. Дура бестолковая… графиней себя вообразила, о чести озаботилась. Правильно Марфа говорит: когда живот к спине подведет – не до чести. И Анне надо было тогда настоять, а не идти у нее, шестнадцатилетней, на поводу. Но, размышляя об этом с досадой и запоздалым сожалением, Софья знала: не смогла бы. И не в морали тут дело, и не в чести. Просто не смогла бы – и все. Вот Аня – умница,

смогла. И никакая это не распущенность, не разврат и не дурное гаремное наследие пленной турчанки – как шипят соседки-помещицы, сразу переставшие езживать к ним и приглашать на собственные крестины и именины. Никакая не испорченность, а… героичность. Вот так. Всех их Аня спасла, не дала умереть с голоду, не позволила пустить с молотка Грешневку – и все это, зная, что через несколько лет свершится неизбежное, Ахичевский оставит ее ради другой молодой красавицы, и тогда… что тогда?..

Глазам неожиданно стало горячо, Софья зажмурилась. Затем открыла глаза, резко поднялась со стула и, взяв свечу, пошла через всю залу к висящему между окон зеркалу – круглому, венецианскому, одной из немногих ценностей в доме, которую брату еще не пришло в голову отнести в кабак. Поставив свечу на подоконник и отодвинув, чтоб не затлела, тяжелую портьеру, Софья взглянула в темнеющее стекло. И невольно улыбнулась сквозь слезы, увидев, как она хороша.

Темные кудри давно рассыпавшейся прически падали ей на плечи и грудь. Зеленые глаза в полутьме казались огромными, как у лесной русалки. Мягкий, нежный абрис лица напоминал о полотнах Возрождения. Вздохнув, Софья вполголоса прочла любимые строки:

Если жизнь тебя обманет, —

Не печалься, не сердись.

В день уныния смирись,

День веселья, верь, настанет…

Может, уехать в Москву, где ее никто не знает, и там попросить Анну найти ей уроки пения? Голос ее хвалили всегда; мадам Джеллини, уходя от них со слезами и многословными извинениями (после того, как ей год не платили жалованья), прочила Софье оперную карьеру и умоляла не бросать занятий вокалом, но как же и на какие деньги было их продолжать?.. Лучше и не думать – как не думать о том, что через несколько лет всех их ждет неизбежная погибель. И Аню, и Сергея, и ее, Софью… Может, только Катю бог помилует, маленькая она еще. Может, к той поре случится что-нибудь, найдется для нее какой-нибудь бескорыстный человек… Усмехнувшись в зеркало, Софья подумала о том, что бескорыстный человек, да еще согласившийся терпеть Катеринин несносный характер, – такого даже во французских романах не найдешь, а уж в

жизни, да в их лесном захолустье… Все мечтания пустые. И Катю ждет то же, что и остальных.

Стоило подумать о Катерине – как она и появилась. Вошла широкой мужской походкой, насквозь промокшая, оставляя влажные следы на паркете, в сопровождении бурчащей Марфы:

– Вот что хочете мне говорите, ваше право господское, а только когда-нибудь накроют вас, Катерина Николавна, прямо на дереве, и в уезд свезут, спаси господи, как воровку беспородную. Как будто я лучше вас этот шалеевский сад не обдеру… Не впервой небось, уже и полканы на меня не брешут…

Софья невольно улыбнулась. Катерина же, не меняя сумрачного выражения лица, вынимала из подола подвязанной юбки и одно за другим выкладывала на столешницу крупные желтые яблоки. Последнее она с хрустом надкусила крепкими белыми зубами и сосредоточенно начала пережевывать.

– Не барышня, а солдат! – высказалась напоследок Марфа уже из-за двери. Софья же, увидев, как сестра метким броском отправляет огрызок в плевательницу, машинально сказала:

– Катя, где манеры?

Катерина только фыркнула. Встряхнула двумя руками распустившуюся косу, обрушив на паркет водопад капель, отжала волосы и зашагала к двери, бросив на ходу:

– Спокойной ночи.

– А Сережи так и нет, – вполголоса сказала Софья. Но Катерина услышала, обернулась с полпути, зло, не по-девичьи блеснула глазами:

– Не дождемся. Он с этим самым… с купцом заезжим в кабаке договаривается. Я сама видела.

– С купцом? О чем?! – растерянно спросила Софья. Она представить себе не могла, какие разговоры могут быть между братом и этим медведем

Мартемьяновым. Помнится, когда она выбегала из кабака, Сергей уже спал мертвым сном, прислонившись к стене. Стало быть, добудились… Но зачем?

– Только бы не ввязался во что-нибудь… – обеспокоенно пробормотала Софья.

Катерина презрительно фыркнула:

– Бога о том моли, чтоб ввязался! Ввяжется, убьют – вздохнем спокойно.

– Катя!!! – возмущенно вскочила Софья, но младшая сестра уже скрылась за дверью, и по лестнице простучали наверх ее босые ноги. Когда через несколько минут Софья тоже поднялась в их общую спальню (спали вместе, экономя дрова на протопку), Катерина уже храпела, лежа на спине и раскинувшись по постели. Софья перекрестила ее на ночь, задула свечу и легла рядом. За окном лил дождь, ветви старых дубов под окнами метались от ветра и стучали в окно, и, несмотря на усталость и пережитые волнения, Софья долго не могла заснуть. На сердце было тревожно, и уснула она с одной мыслью: «Скорее бы Аня приезжала. Проценты с июня не выплачены…»

На другой день Софья была разбужена вошедшей без стука Марфой, которая мрачно возвестила с порога:

– Подниматься пора, Софья Николавна, полдень прошел.

Софья изумленно села на постели. Обычно Марфа берегла сон барышень и старалась «не беспокоить без надобности», а уж после такого дня, каким был вчерашний, и подавно.

– Что случилось, Марфа? Катя не заболела?

– Что ей сделается, господи прости… Спозаранок вскочила и босиком, как дворовая, в лес умчалась. Я за ей с ботинками по двору бежу, кричу – наденьте, Софья Николавна никуда в обувке не собираются ныне, – какое там… Хоть бы лапти надела! Август ноне студеный, того гляди, заморозки падут!

Софья приподнялась на локте и выглянула в окно. На дворе стоял пасмурный день, дождя не было, вся земля у дома была усыпана сброшенными за ветреную ночь дубовыми и кленовыми листьями. На заборе, вытянув голую шею, уныло орал петух, куры разрывали навозную кучу. Небо было обложено плотными серыми тучами. Взглянув на них, Софья поежилась, спустила ноги на холодный пол (Марфа молча придвинула ей ногой половик) и принялась одеваться. Марфа, сложив руки на животе, стояла у двери и молчала столь многозначительно, что Софья в конце концов бросила разглядывать на свет расползающуюся под пальцами ткань блузки и взглянула на бывшую дворовую:

– Марфа, что с тобой? Случилось что-нибудь? – И тут ей разом вспомнились вчерашние события, и блузка, выпав из рук, поползла на пол. – Господи! Марфа! Сережа не вернулся?

– Как же, не вернутся они… – ехидно сказала Марфа. – Еще вчерась доставлены были купеческими молодцами в виде самом раздрызганном.

Софья вздохнула:

– Спит?

– Полчаса назад вставши. Рассолу нахлебавшись, и вашу милость требуют.

– Меня?! – Это было еще удивительней. Обычно после бурных ночей Сергей никого не желал видеть, и даже сестры не были застрахованы от прицельно брошенного сапога и армейской ругани. Только доблестная Марфа без страха входила к похмельному хозяину, заставляла его сменить грязную одежду, выпить холодного чая или рассола, а в случае сопротивления не задумавшись применяла грубое физическое воздействие. Законная база под это подводилась следующая: «Я теперь вольная, что хочу, то и ворочу, а вы к мировому меня сведите! Я с вас там жалованье-то за четыре года стрясу-у!» Марфы Сергей побаивался и о мировом судье разговоров не заводил.

– Вас, вас, – поджав губы, подтвердила Марфа. – Говорит, дело важное до сестры имеется, буди немедля. Упредить хочу, что расположение у них нехорошее. Я с кочергой на всякий случай за дверью постою.

– Я сама справлюсь, Марфа, – со вздохом сказала Софья, поднимая с пола блузку. – Не беспокойся.

– Как угодно будет, – угрюмо сказала Марфа, исчезая за дверью. – Я тады на болото пойду поброжу, уток повзганиваю.

В комнате Сергея стоял привычный кавардак. Время от времени Марфе удавалось прорваться туда с ведром и тряпкой и оттереть затоптанный пол, мутные окна и покрытую многодневной пылью мебель, но Сергей довольно быстро восстанавливал прежнее положение вещей. Войдя, Софья поморщилась. Кислый запах табака, перегара и мужского пота ударил в нос.

– Бон матинэ, – сухо сказала она, пытаясь в полумраке комнаты (занавеси были спущены) определить местонахождение брата. – Серж, ты спишь?

На кровати что-то заворочалось, закряхтело, выругалось. Софья без церемоний подошла к окну, отдернула пыльную занавеску, и в комнату хлынул серый утренний свет. Теперь она могла разглядеть брата, сидящего на разобранной постели в охотничьей куртке и сапогах. В этой одежде Софья видела вчера брата в кабаке; было очевидно, что в ней он и спал. Расстегнутая на груди рубаха была покрыта высохшими пятнами вина и разводами огуречного рассола. Во всклокоченной черной голове запутались подушечные перья и почему-то солома. Из-под набрякших, покрасневших век на Софью взглянули мутные, больные глаза тяжело страдающего человека.

– Со-оня, что ты делаешь… – простонал Сергей, сжимая виски руками и отворачиваясь от света. – Ведь режешь без ножа, опусти занавеску… Опусти, черт тебя возьми, опусти-и…

Набрав полную грудь воздуха, чтобы подавить приступ тошноты, Софья послушалась. Снова оказавшись в полумгле, Сергей облегченно вздохнул, потянулся и взглянул на сестру уже более осмысленно.

– Соня, сколько у нас денег? – последовал обычный вопрос.

Ответ был не менее обычным:

– Не твое дело. Не дам ни гроша.

– Соня…

– Ни гроша! – Софья повернулась и пошла к двери. И остановилась на полушаге, как от внезапного удара, услышав спокойный и деловитый вопрос брата:

– Ты хочешь выйти замуж?

Она повернулась. Сергей смотрел в упор, внимательно, почти трезво. Софья недоверчиво переспросила:

– Сережа, ты о чем? Замуж? За кого? Здесь, у нас?! Ты еще не… пришел в себя?

– Нет, нет… – Сергей снова поморщился, потер виски. Софья ждала, стоя у двери. Мигом вернулась вчерашняя тревога, снова подумалось: «Господи, почему же не едет Аня?!»

– Соня, ты же вчера заходила в… заведение.

– В кабак, – холодно поправила Софья. – И не заходила, а почти дралась с твоим сердечным другом Устиньей. И с каким-то зарвавшимся мужиком.

– С Федором Мартемьяновым, – в свою очередь поправил Сергей.

Софья удивилась:

– Вы знакомы?

– В некотором роде… – Сергей натужно закашлялся, выругался, потянулся за ковшом с рассолом, предусмотрительно оставленным на столе Марфой. – Познакомились как раз вчера.

– Вместе пили? – брезгливо уточнила Софья. – Нечего сказать, подходящее знакомство для графа Грешнева.

– А зачем тебе вздумалось ему петь?! – неожиданно вскинулся Сергей, неловко вскочив с постели и опрокинув при этом наполовину полный ковш рассола на пол. Мутная жидкость залила его сапоги, растеклась по половицам, и Анна отступила от подбирающегося к ее ногам ручейка.

– Сережа, но… но я не понимаю… – от неожиданной догадки похолодела спина. – Боже, Сережа! Ты хочешь сказать, что этот… этот… этот человек… Сережа!!!

Брат сумрачно кивнул, не отрывая взгляда от лужи рассола.

– Видит бог, ты сошел с ума, – собрав остатки самообладания, Софья пыталась говорить спокойно, но собственный голос казался чужим, и отчаянно, выдавая ее, дрожали руки. – Серж, ты положительно лишился рассудка. Замуж… за купца… за… за… хама, мужика! Слов нет, мы бедны, все в долгах, но вот так…

– Сонечка, он… он, собственно, не имел в виду замужество… – поперхнувшись кашлем, смущенно уточнил Сергей. – Он сказал так… Если, мол, ваша сестра окажет мне честь проехаться со мной в Москву… Соня, он дает пятнадцать тысяч. Пятнадцать тысяч! Ты подумай только! Это – проценты по закладной, заплатим мужикам, вернем долг Арапчиным… Катю можно будет в пансион в Калуге отдать…

Софья закрыла глаза и прислонилась спиной к дверному косяку. «Господи, это сон… Это просто дурной сон, я слишком устала вчера, до чего глупой была эта затея с лесным чудищем… Сейчас я проснусь, войдет Марфа, скажет, что приехала Аня… Все будет хорошо, это просто кошмар…»

– Соня, тебе дурно? Ты слышишь меня?

Глаза пришлось открыть. Сергей, который уже каким-то чудом сумел подняться с постели, стоял рядом и заглядывал ей в лицо. Софья увидела совсем рядом его зеленые, как у всех Грешневых, глаза, нечистое, заросшее лицо, ссадину на скуле. «А ведь как хорош был… – мелькнула нечаянная мысль. – Как удачно мог бы жениться…»

– Сережа, это шутка? – в голосе Софьи прозвучала последняя отчаянная надежда.

Брат с сердцем выругался и отошел к окну. Не оборачиваясь, глухо сказал:

– Вчера, еще до твоего прихода, мы играли с ним в баккара. Он неплохой игрок, этот, как ты выразилась, навозный хам. Голова у него варит превосходно, и ум прирожденного математика. Короче, я должен ему полторы тысячи рублей.

– Сколько?! – задохнулась Софья. – Сережа, но… но на какие же деньги ты играл?! Откуда столько?

– Я играл в долг, – отрывисто сказал брат. – Видит бог, сначала мне очень везло. Возможно, этот Мартемьянов нечист на руку, но я не замечал. Я уже был прилично пьян к тому времени. А потом прибежала ты, и… и… Соня, он меня убьет. Я дал слово чести…

– Пардон, слово – чего?.. – со всем возможным сарказмом переспросила Софья, молясь про себя только об одном: чтобы не грохнуться в обморок. Взгляд уже мутился, дыхания не хватало, и она машинально потянула ворот блузки. Тот затрещал и пополз вниз, на пол упала и покатилась пуговица.

– Соня, умоляю тебя!.. – Сергей наконец обернулся, Софья увидела его глаза, крупные капли пота на лбу. – Соня, пойми, в нашем положении… Боже мой, да с какой стати ты строишь из себя оскорбленную добродетель?! Посмотри, как мы живем! Мы, графы Грешневы!

– По твоей милости, – вставила Софья, но Сергей ее не услышал.

– Катерина обворовывает мужицкие огороды! Вы с Марфой бьете уток по болотам! Анна… Анна – падшая женщина, из-за нее никто в уезде со мной не здоровается, а…

– Ты живешь на ее деньги, мерзавец!

– …а ты ломаешься, как институтка! Будто не понимаешь, что произойдет, если мадемуазель Грешнева и далее изволит кривляться! Ты сама видела этого Мартемьянова, ты видела его людей! Такие ничего не боятся и ни перед чем не останавливаются! Он убьет меня, сожжет имение и увезет тебя силой, и, поверь мне, ничего ему за это не будет! Поверь мне, сестра, я знаю, что говорю! И что

тогда будет с Катериной?! Она еще ребенок, у нее нет ни воспитания, ни образования, ей…

– Боже мой, про Катерину он вспомнил… – пробормотала Софья. На этот раз Сергей услышал ее, перестал кричать, оборвавшись на половине фразы, снова отошел к стене. Тихо сказал:

– Там, во дворе, ждет его человек. Деньги получишь лично ты, в руки, когда придешь. Это его условие.

– Умный человек. Тебе в руки не дает… – эту последнюю колкость Софья выговорила по пути к окну. Осторожно, из-за занавески взглянув на двор, она увидела стоящую у ворот подводу, запряженную гнедой. На подводе сидел… вчерашний светлоглазый приказчик. От изумления утратив бдительность, Софья качнулась к подоконнику. Приказчик, видимо, заметил движение в окне, тут же поднял голову и, встретившись глазами с Софьей, коротко поклонился ей. Она отпрянула от окна, чувствуя, как бухнуло в ребра сердце. Закрыла лицо руками. Медленно пошла к двери.

– Соня… – неуверенно окликнул ее Сергей.

Софья остановилась на пороге. Не оборачиваясь, сказала:

– Я пойду в лес. Поищу Марфу. Она поедет со мной. Скажи посланному, пусть подождет.

Софья не помнила, как прошла через весь дом к черному ходу, как пересекла двор, как пробиралась через огород и заваленные картофельной ботвой зады, как шла, босая, по колючему жнивью сжатых полей, на которые то и дело крапал дождь. Она действительно собиралась идти на поиски Марфы, но через какое-то время, когда дождь припустил сильнее и Софья почувствовала холод на плечах от промокшего платья, она поняла, что оказалась вовсе не на лесном болоте, давно исхоженном вдоль и поперек. Неведомо как она свернула со знакомой тропки и пришла на высокий берег Угры за полверсты от имения. Здесь гулял ветер, морща серую речную гладь, ероша желтый, высохший камыш, монотонно гудя в стволах высоких сосен, растущих на обрыве. Чуть не в лицо Софье, пронзительно крича, кинулась чайка, но порыв ветра сбил ее полет, и чайка, вскинувшись под облака, унеслась прочь. Передернув онемевшими от холода

плечами, Софья подошла к краю обрыва, посмотрела вниз, на неприветливую, всю сморщенную от ветра воду. Села прямо на песок, отвела за спину промокшие, слипшиеся волосы. Равнодушно подумала о том, что Сергей, по большому счету, прав и, не случись это все так неожиданно, она, может быть, и скандалить бы не стала. Пошла же на это Анна, не побоявшись ни утраченной репутации, ни унизительного положения, ни потерянных навсегда знакомств в привычном кругу и думая только о том, что теперь будет на что прожить сестрам, тогда еще малышкам. И сама она, Софья, разве не о том же думала вчера, глядя на себя в темное зеркало и перебирая локоны? На что еще она годна – без образования, без средств, без приданого, без единого нового платья? И – Катя, Катя, Катя… Дикий зверек, лесная девчонка, едва грамотная, без тени манер, ругающаяся, как базарная цыганка, и, как цыганка же, ворующая яблоки и кур по дворам, – только чудом не поймали еще, вот позору-то было бы…Что будет с ней? Через два-три года, когда она войдет в невестин возраст, – что с ней будет?! А этот Мартемьянов, возможно, не так отвратителен… Может, он согласится оплатить обучение Кати, тогда…

Софья зажмурилась. Рассудок был, как всегда, прав, но при одном воспоминании о вчерашнем происшествии, о стиснувших ее грубо, как куклу, грязных руках с обломанными ногтями, о тяжелом запахе, идущем от расстегнутого кожуха, о пьяных черных глазах к горлу подступила тошнота. «Бесполезно… – подумала Софья с тем же тупым безразличием. – Стошнит меня рядом с ним, он обидится да прогонит. Ни чести, ни денег – вот и все. Зимой с голоду умрем. И я, и Катя, и Марфа вместе с нами. Напрасно Аня столько лет мучилась…»

Софья встала, снова подошла к берегу. Порыв ветра вывернул кусты ракитника, оторвал несколько серебристых листьев, унес их на дальний, затянутый туманом берег. Тяжелые сизые тучи затянули небо, и вода Угры еще больше потемнела. В каком-то полусне Софья подумала, что больно не будет. Холодно, наверное, но ведь и сейчас, в сыром платье, ничуть не теплей. Плавать она не умеет, значит, и кончится все быстро. И ничего больше не будет – ни изматывающих, постоянных, не оставляющих даже во сне мыслей о деньгах, ни приступов голода по вечерам, когда все уже съедено, ни долгих тоскливых, бесконечных дней нищей зимы, ни Мартемьянова, ни пьяного брата, ни усталого лица Ани… ничего. Глубоко вздохнув, Софья подошла к самому краю обрыва, открыла глаза. В это время в разрыв между сизыми осенними тучами неожиданно выглянуло солнце. И когда сияющий луч лег на свинцовую воду бегущей реки, Софья зажмурилась и шагнула вниз. Резкий ветер, удар о воду, чей-то пронзительный крик, страшный, стылый, стиснувший грудь холод, удушье – и темнота.

– …Да разденьте вы ее вовсе, Владимир Дмитрич, дело вам говорю! И не так вовсе надобно! Вы ей зубья, зубья разожмите, все само повыйдет, и на грудя жмите! От дайте я… Да-а, грудя знатные…

– Пошел вон, паршивец! Займись лошадьми лучше.

– Да осадите вы назад, помрет еще барышня от вашего благородства… Ножом разожмите зубья-то!

«Разве так умирают?» – подумала Софья, не в силах открыть глаза и чувствуя, как чьи-то руки теребят ее, растирают, поворачивают, разжимают рот… Ангелы, черти – кто это? А она, глупая, и в бога не верила никогда…

– Вот… Вот… Есть! Северьян, есть!

– Вода пошла? Ну и слава богу… Давайте ее сюда, к огню поближе, да водки ей дайте. Прямо в рот лейте, лейте со всем почтением… И растереть бы надобно. Ох, коли б не воспитание ваше…

Рот обожгла горькая жидкость, от которой Софья задохнулась и, закашлявшись, выплюнула водку. Сквозь зубы снова пошла отвратительная, теплая вода, Софья почувствовала, что те же руки держат ее за плечи, давят между лопаток сильно и больно.

– Ах… да оставьте же меня… – едва смогла выговорить она, отплевываясь и задыхаясь. – Уберите руки, кто вы?

– Ложитесь и поменьше разговаривайте, – сказал тот, кого называли Владимиром. – Не бойтесь, вас не обидят. Напрасно вы это сделали, Софья Николаевна. Если бы мы с Северьяном не успели в последний момент… Поверьте, таким образом ничего нельзя исправить.

Софья села. Кружилась голова, отчаянно болела грудь, перед глазами плавали мутные желтые пятна. Не выдержав, она легла снова, на живот, подсунув под голову скрещенные руки, и какое-то время лежала неподвижно, с закрытыми глазами, находясь между сном и явью. Кто-то накрыл ее тяжелым, кисло

пахнущим зипуном. До Софьи доносилась негромкая перебранка двух мужских голосов, хруст ломаемых сучьев, к которому скоро примешалось веселое потрескивание костра, и под зипун медленно вползло тепло.

– Кто вы? – спросила Софья, не открывая глаз. – Зачем вы мне помешали?

– Во-первых, помешал вам не я, а Северьян, – ответил тот же спокойный голос. – Он первым заметил вас и в воду прыгнул тоже первым. Я пошел вторым номером, но как раз мне посчастливилось вас найти. Вы знаете, что зацепились платьем за донную корягу и я довольно долго провозился с вами, пока сумел поднять? Софья Николаевна, так шутить с судьбой нельзя.

Только сейчас, во второй раз услышав, как незнакомец называет ее по имени, Софья почуяла неладное. С невероятным трудом она приподнялась на локте, взглянула в лицо стоящего на коленях у разгорающегося костра мужчины… и, ахнув, зажмурилась. Это был светлоглазый мартемьяновский приказчик, ожидавший ее утром на подводе посреди двора.

– Подите прочь, – хрипло сказала она. – Какое вам дело до меня, до моей судьбы? Вы… хамов прихвостень!

– Эка она вас, барин! – ухмыльнулся второй, Северьян, – помоложе, почернее, понахальнее, похожий на красивого цыгана, чуть поодаль ломавший об колено один за другим сосновые сучья. – Вот она и благодарность за спасение!

– Замолчи, – приказал Владимир все так же невозмутимо, ничуть не обиженно. На Софью он не смотрел, занимаясь огнем, а она говорила – с нарастающей яростью:

– Что вы сделали, зачем? Кто вас просил вмешиваться? Что вы знаете?! Меня родной брат продал вашему… вашему… этой сволочи, продал за пятнадцать тысяч, за карточный долг! Что я должна была делать, по-вашему?! Уложить вещи в узелок и ехать с вами на телеге? Как купленная дворовая?!

– Почему бы вам было просто не убежать? – поинтересовался Владимир.

– Мне некуда бежать! – отчаянно выкрикнула Софья. – Родственников в городе у меня нет, а московским я не нужна! Денег тоже нет! Выполнять черную работу я не умею, не кончала ни курсов, ни института, не обучена языкам…

– Вам кто-нибудь говорил о том, что вы великолепно поете? Я не большой знаток, но знаю, что поставленный от природы голос – большая редкость. Вы специально учились вокалу? Чувствуется итальянская школа…

Софья только усмехнулась. Чуть погодя, когда костер разгорелся и снопы искр начали весело рваться к темнеющему небу, спросила:

– Вы ведь сами не из простых… Не обыкновенный приказный, это заметно. Ваш человек зовет вас барином…

– М-да… – несколько смущенно усмехнулся Владимир, глядя в огонь. – Не поверите, шестой год не могу его отучить от этой привычки. Позвольте отрекомендовать себя – Владимир Дмитриевич Черменский, помещик Смоленской губернии.

– Так вы дворянин? – Софья не могла не удивиться. – Почему же вы служите Мартемьянову? Вы ему тоже должны деньги?

– Я, слава богу, никому ничего не должен, – впервые за разговор в голосе Владимира прозвучала резкая нотка, и Софье даже показалось, что он обижен. – И Мартемьянову я не служу, тут другое… Долго рассказывать, Софья Николаевна. Долго и ни к чему.

– Это Владимир Дмитрич из-за меня вляпавшись, – подал голос Северьян, но Владимир, подняв голову, пристально посмотрел на него, и тот умолк. Заинтересованная Софья долго глядела на него, ожидая продолжения, но Северьян больше не сказал ни слова. Вскоре он и вовсе ушел в лес за новой партией сучьев, и Софья с Владимиром остались вдвоем.

– Вам лучше снять мокрое платье, Софья Николаевна, – помолчав, сказал Владимир. – Северьян настаивал на том, чтобы вас раздеть, но я не решился. Наденьте вот это. По крайней мере, сухое и чистое, за это ручаюсь. Я скоро вернусь, помогу Северьяну.

Он взял лежащий у костра топор и зашагал в сторону леса, со стороны которого уже поднимался седой, страшный туман. Софья окликнула его:

– Владимир Дмитриевич! Но… но как вы нашли меня? Как вообще здесь оказались? Здесь совсем безлюдное место, только охотники бывают…

– Во-первых, я охотник, – усмехнулся он, полуобернувшись к девушке. Рыжий отсвет огня лег на его высокую фигуру с широким, почти мужицким разворотом плеч, и Софья невольно вспомнила, какие жесткие и сильные у него руки. – А если без шуток… Я видел, как вы разглядывали меня из-за занавески. Сегодня утром. Мне не понравилась ваша… ваше лицо. Человек с таким лицом способен на любую глупость. И я просто пошел за вами. И кажется, не ошибся.

– Я вас совсем не слышала… – растерянно сказала Софья.

Черменский снова усмехнулся:

– Говорю же, я неплохой охотник. – И, помахивая топором, ушел в лес.

Оставшись одна, Софья села как можно ближе к огню и, дрожа, стянула с себя мокрое, порванное в нескольких местах, безнадежно испорченное платье. Над ней тут же тоненько заныли злые осенние комары. Торопливо, не попадая в рукава, Софья натянула широкую мужскую рубаху, тканые порты, накинула сверху суконную поддевку, легла на прежнее место, с головой накрывшись уже знакомым зипуном, – и неожиданно заснула мертвым сном.

Ее разбудил громкий сухой треск, разнесшийся над рекой и разом поднявший из камышей стаю диких уток. Сразу же поняв, что это выстрел, прозвучавший мало не в двух шагах, Софья села и, не понимая, где находится, испуганно осмотрелась. Было уже совсем темно, над Угрой высоко в очистившемся небе стоял месяц, покрывая водную гладь мертвенной рябью, костер горел, источая крепкий запах смолы и шишек, рядом, на палках сушились мужские рубашки и порванное платье, а оба спасителя Софьи стояли у огня, Владимир – во весь рост, Северьян – на коленях, оба обнаженные до пояса и – с поднятыми руками.

– Как есть сейчас стрелю! – раздался грозный голос, и массивная фигура с поднятым ружьем выступила из камышей в дрожащий круг света. – Вот прямо как есть стрелю, коли барышню, кромешники, не отпустите! Софья Николавна,

ежели они вам чего худого сделали, так я обоих на месте наповал!.. И в Угру сброшу – поминай, как звали!

– Ма-а-арфа… – выдохнула Софья, берясь за голову. – Опусти ружье, глупая, это вовсе не разбойники! Успокойся, Владимир Дмитрич благородный человек…

– Что-то никакой благородности не примечаю… – пробормотала Марфа, нехотя опуская ружье. – Рожа цыганская, конокрадская, и боле ничего. Софья Николавна, вы бы ко мне поближе…

Прежде чем Софья сообразила, что Марфа имеет в виду, стоящий в тени Владимир сложился пополам в приступе беззвучного смеха, а Северьян, весь бывший на виду в столбе света, оскалил белые зубы, сдвинул на затылок картуз и медленно, не опуская рук, пошел прямо на Марфу.

– Стоять! – та снова подняла ружье, сдвинула брови.

Северьян шел не останавливаясь. Визг Софьи, окрик Владимира: «Стой, болван!» – и выстрел прозвучали одновременно, картуз с головы Северьяна улетел в костер, а сам он без единого звука упал навзничь.

– Это она нарочно в картуз выстрелила, – не без триумфа пояснила Софья. – Марфа белку в глаз бьет без промаха, так что без шалостей, господа.

– Тоже, выходит, охотник… – проворчал Владимир, подходя к лежащему неподвижно Северьяну. – Жив, дурак? Поднимайся… Когда-нибудь и в самом деле пристрелят.

– От это понимаю – баба! – Северьян ловко вскочил на ноги, с веселым изумлением уставился в насупленное, рябое лицо Марфы. – С такой и на войну не страшно! Жаль, что на роже черти горох молотили, не то б…

– Смотри, золотая рота, вдругорядь не промахнусь! – рассвирепела Марфа, вскидывая ружье, Северьян с напускным ужасом шарахнулся за спину Владимиру, тот снова захохотал, а Софья встала и, путаясь в непривычной мужской рубахе и спадающих портах, пошла к Марфе.

– Успокойся… сядь. Откуда ты?

– Грех вам, Софья Николавна! – едва усевшись, сурово объявила Марфа. – Убежали, никому не сказамшись, хоть бы Катерине Николавне словечко молвили! А то ни она, ни я ничего не знаем, Сергей Николаич молчат как каменные и сливянки с утра нарезавшись, а к вечеру ка-ак понаехали на двор тройки, да купчина страшенный, черномазый, в шубе ка-ак почнет орать во всю окрестность да барина требовать – подайте ему, мол, евонное имущество, ночью сторгованное! Ну, барин, упившись, спят, им и дела никакого, Катерина Николавна из дому спозаранок убравшись, а я вас по всему лесу бегаю-ищу! А вы в таком неподходящем обществе да в мужских подштанниках комаров болотных кормите!!! Пфуй, срамота…

– Садись с нами, милая, – отсмеявшись, предложил Владимир. – Угли догорели, сейчас картошку печь будем. Голодна, поди.

Марфа молча сухо поклонилась, села рядом с Софьей, вытащила из-за пояса длинный охотничий нож и принялась ощипывать одну из принесенных уток. Вполголоса она задавала Софье вопросы. Та так же тихо отвечала, и лицо Марфы темнело, как туча. Больше она не произнесла ни слова – ни когда закончила щипать утку, ни когда та уже зажарилась над углями, ни когда была испечена и съедена вместе с уткой картошка, ни когда пили чай, вскипяченный в медном солдатском котелке Владимира. И только когда месяц уже закатывался за Угру, а воду вместе с камышами сплошь покрыл туман, Марфа сумрачно спросила:

– Что ж нам делать теперь, Софья Николавна? Застрелить мне, что ли, этого купца? Или Сергей Николаича?

– Не бери греха на душу, Марфа, – равнодушно сказала Софья, глядя на тлеющие, вяло подсвечивающие красным угли. – Братец – душа пропащая. А Мартемьянов… Что с него взять. Привык человек все деньгами мерить. Ложись лучше спать.

– А вы? – подозрительно спросила Марфа.

– И я сейчас лягу.

Но Софья не легла. На обрывистый берег уже спустилась сырая, беззвездная ночь, на болоте тоскливо кричал сыч, угли, прикрытые корой, едва тлели, Северьян и Марфа спали мертвым сном, один – беззвучно, чутко, как животное, то и дело приподнимая лохматую голову и вглядываясь в темноту леса, другая – обнимая ружье и оглашая речной берег богатырским храпом. Софья, завернувшись в зипун и поджав под себя ноги, сидела возле углей и смотрела на ленивую игру бегающих по коре последних искр. Чуть поодаль, на поваленном стволе сидел Владимир. Он тоже, кажется, не собирался спать и, положив на колено небольшую записную книжку в кожаном переплете, что-то быстро писал. Изредка он взглядывал через костер на Софью, и ей казалось, что в его светлых глазах мелькает улыбка. Черменский не спрашивал, почему она не спит, и, казалось, ее присутствие его ничуть не стесняет. В конце концов Софья не выдержала:

– Позвольте спросить, что вы пишете? Роман?

– Нет. – Владимир улыбнулся, не поднимая глаз от записной книжки. – Я не писатель. И это не роман, а всего лишь личные записки. Может, пригодятся когда-нибудь для печати.

– Так вы газетчик… – разочарованно протянула Софья.

– Я – все понемножку, – ничуть не обиделся он. – Когда-нибудь, в более подходящее время, я расскажу вам что-нибудь из моей жизни. Поверьте, у меня она интересная. Один сегодняшний день чего стоит… На старости лет, если доживу, конечно, издам претолстый том мемуаров и сделаюсь богачом. Если хотите, посвящу их вам.

– Спасибо вам, Владимир Дмитрич, – серьезно, не поддерживая его шутливого тона, сказала Софья, и Владимир сразу перестал улыбаться. Софья отвела взгляд от его лица и, обняв колени руками, уставилась в черный лес. – Вы были правы… – заговорила она. – Да, правы. Теперь я понимаю: то, что я собиралась сделать, – это малодушие. Аня рассказывала мне, что в семнадцать лет тоже хотела отравиться мышьяком, даже купила специально в аптеке, но вспомнила о нас, совсем еще маленьких… и не стала. А я совсем забыла про Катю. Что сталось бы с ней, если б я… Ей всего пятнадцать, ее еще можно спасти. Я… – Софья умолкла на миг, стараясь незаметно сглотнуть застрявший в горле ком. – Я пойду к Мартемьянову. Пятнадцать тысяч – большие деньги, я смогу решить дела имения, спасти Грешневку от торгов… может быть, даже поместить Катю в

пансион. А потом… а потом будет видно. Аня не побоялась этого, а я… я тоже ничего не боюсь. Да, решено. Завтра утром вы проводите меня к своему… хозяину.

Владимир долго молчал, забыв о своей книжке и глядя на гаснущие угли. Красные отсветы прыгали на его обветренном лице с опущенными глазами, непрерывно меняя его, делая то растерянным, то сердитым. Но Софья смотрела в сторону и не видела этого.

– Рассуждаете вы очень здраво, Софья Николаевна, – наконец сказал он. – Но боюсь, что вы неопытны в такого рода… м-м… предприятиях.

Софья вспыхнула до слез, едва удержалась от того, чтобы не закрыть лицо руками, но Владимир, казалось, ничего не заметил и продолжал:

– Мне неизвестна история вашей сестры. Возможно, что ее покровитель – умный и щедрый человек. Об этом говорит то, что она находится с ним, по вашему рассказу, уже несколько лет. Скорее всего, их связывают подлинные чувства. Но, уверяю вас, не таков Мартемьянов. Он по-своему недурной малый, вовсе не подлый, совсем неглупый, но… но вы поразительно точно заметили: он привык все мерить деньгами. И, получив желаемое, он быстро разочаровывается, и далее предмет этот занимает его не больше, чем прошлогодний снег. Боюсь, что так же будет и с вами. Его интереса хватит самое большее на месяц, а потом… потом вам придется вернуться в Грешневку – с большой суммой отступных, возможно. В то же время сейчас, еще не получив вас, он не отступится. И не успокоится, пока не добьется своего. Вам бессмысленно даже бежать: он приложит все усилия, чтобы найти вас и вернуть. Большие деньги у нас в России делают невозможное.

– Господи… – прошептала Софья, прижимая похолодевшие пальцы к вискам. – Господи, но как же… Значит, все напрасно?.. Значит, все-таки лучше было бы туда?.. Туда, вниз… Как мама?.. Она перестала мучиться, и я бы… я бы тоже…

Владимир встал. Обошел почти погасший костер, подбросил в него веток, подул на угли и, когда огонь разгорелся и затрещал снова, сел рядом с Софьей.

– Вам надо исчезнуть, Софья Николаевна, – задумчиво сказал он. – И исчезнуть так, чтобы все думали, что вы мертвы. Наверное, лучше всего будет сделать так:

мы оставим ваше платье здесь, на берегу, его рано или поздно найдут, а вас сочтут утонувшей.

– А куда я денусь, позвольте спросить? – невесело поинтересовалась Софья. – В этом мужицком платье, которое с меня падает? Возможно, и доберусь до Юхнова, но…

– В Юхнов вам нельзя, – тут же перебил Владимир. – Туда как раз едет Мартемьянов, а у вас, верно, нет там знакомых, которые могли бы вас прятать и не болтать?

Софья молча покачала головой.

– Вы пойдете в Калугу, – решил он. – У меня есть немного денег, я одолжу вам. И напишу письмо в тамошний театр, антрепренер Чаев хорошо меня знает, я работал у него целый сезон…

– Вы еще и актер?.. – меланхолично спросила Софья.

– И актер, и гимнаст, и бутафор, и сверх того сапоги тачаем, – пошутил Владимир, имитируя говорок приказчика базарной лавки, и Софья невольно улыбнулась. – Театральный народ дружный, вас примут без лишних разговоров. Сезон уже начался, думаю, вас тут же выпустят на публику.

– Владимир Дмитриевич! – поняв наконец, что он говорит серьезно, Софья пришла в ужас. – Я… я не актриса! Я никогда не училась играть! У меня нет призвания…

– Призвание вам как раз ни к чему, – деловито заверил Владимир. – У вас есть великолепная внешность и необыкновенный голос, этого больше чем достаточно. Поверьте, Софья Николаевна, я знаю толк и в актерах, и в женщинах.

Последняя его фраза несколько покоробила Софью, и она лишь сухо кивнула в ответ. Но Владимир этой сухости, казалось, не заметил.

– А если вы согласны, то надо спать. Завтра на рассвете вы уже должны будете уйти отсюда. Доброй ночи… будущая богиня калужской сцены. Вас ждет успех.

У Софьи не было сил ни спорить, ни парировать. Слишком мучительным, слишком тяжелым был этот день, слишком много всего произошло, слишком быстро и бесповоротно изменилась ее жизнь. Софья молча легла на расстеленную мешковину, накрылась зипуном и через минуту уже спала – неподвижно, бесшумно. Владимир еще раз оживил костер, сел ближе к нему и снова застрочил в своей книжке, время от времени взглядывая на лицо спящей девушки и улыбаясь своим мыслям.

Софья проснулась еще до рассвета от холода. Вокруг было сумрачно, по темному небу низко плыли дождевые тучи, река была плотно застлана синеватым холодным туманом, из которого выглядывали ветви ракит, траву покрывал серебристый налет заморозка. Поджав под себя окоченевшие ноги, Софья выглянула из-под надвинутого на голову зипуна – и сразу же увидела Владимира.

Он сидел возле давно потухших углей и разводил костер заново. Собранный хворост уже потрескивал от разбегающихся по нему язычков пламени. Услышав шорох, Владимир поднял голову, весело улыбнулся стучащей зубами Софье и сказал:

– Доброе утро, Софья Николаевна. Придвигайтесь ближе. Я, болван такой, ночью упустил огонь, костер погас. Вы, должно быть, сильно замерзли?

– Н-н-ничуть… – храбро заверила Софья. – А… где Марфа? И Северьян? Они еще спят?

– Видимо, да, – помедлив, сказал Владимир, и Софья с удивлением заметила, что он как будто смущен. Причину этой неловкости она поняла через минуту, когда из полурассыпавшейся скирды сена выглянула встрепанная, вся в соломе голова Марфы. Голова сонно посмотрела по сторонам, похлопала ресницами и сиплым басом сказала:

– Просыпайся, недостреленный, господа уж встамши!

Рядом с ней завозилось, чихнуло, выругалось – и Северьян поднялся из скирды во весь рост, скребя голову и чихая от трухи. Увидев вытаращившую глаза Софью, он без капли смущения сказал:

– Так что извиняемся. – Натянул через голову рубаху и вопросительно взглянул на Владимира. Тот в свою очередь посмотрел на Софью и, неуверенно откашлявшись, сказал:

– Софья Николаевна, вам пора отправляться.

– Да, вы правы, – поспешно сказала она. Встала, неловко придерживая на себе отсыревшую, слишком большую для нее мужскую одежду… и тут же села снова, с досадой сказав:

– Вы же видите, Владимир Дмитриевич, в этом я и трех шагов не сумею сделать.

Северьян заржал было, но под взглядом Владимира осекся и принялся глубокомысленно скрести лохматый затылок. Марфа сердито покосилась на него, подумала и сказала:

– Одевайтесь лучше в мое, Софья Николавна. Оно, конечно, тоже вам велико, но все хоть бабская сбруя, а не эти порты. А я как раз их надену, мне сподручнее.

– Вот это верно, – одобрил Владимир. – Что ж, дамы, переодевайтесь, а мы понемногу соберем пожитки. Наверняка в Грешневке уже хватились и нас.

Через полчаса, когда солнце уже высунуло красный бок из-за леса, на большой дороге, ведущей в город, они простились. Софья, чувствующая себя очень глупо в широченной домотканой юбке, вылинявшей кофте и накинутом на плечи драном платке Марфы, протянула Владимиру мокрую, холодную руку.

– Что ж… прощайте. Вы сейчас в Грешневку?

– Как условились. – Владимир держал в руках свернутое в валик платье Софьи. – Постараемся поднять побольше шума, чтобы все поверили в ваше… м-м… утопление.

– Только Катю, Катю предупредить не забудьте! – волновалась Софья. – У нее несносный, дикий характер, она бог весть что выкинуть может! Прямо сразу же шепните!

– Я обещаю, – Владимир осторожно пожал ее руку. – Вы же, со своей стороны, постарайтесь не задерживаться, садитесь на первую же попутную телегу и марш-марш – в Калугу! Тех денег, которые я вам дал, должно хватить на дорогу и на первое время. Не потеряйте письмо к Чаеву!

– Разумеется… – Софья осторожно высвободила свои пальцы из ладони Владимира. – Спасибо вам, Владимир Дмитрич. Прощайте.

– До свидания, – серьезно поправил он. – Поверьте мне, Софья Николаевна, мы еще увидимся. Моей службе у Мартемьянова скоро конец, и, видит бог, я вас найду. Чего бы мне это ни стоило.

Серые светлые глаза посмотрели на Софью в упор, без улыбки. Она опустила взгляд, чувствуя, как горячеют скулы. Поспешно сказала:

– Прощайте. – И, не оглядываясь больше, быстро пошла по светлеющей дороге. Марфа, сговаривающаяся о чем-то на обочине с Северьяном, прервалась на полуслове, вскинула на плечо ружье и, похожая в мужской одежде на толстого невыспавшегося рыжего парня, споро затопала следом.

– Ну, брат, твой выход, – сказал Владимир, часом позже подходя вместе с Северьяном к покосившимся воротам грешневского имения. – Давай уж от души, не подкачай.

Северьян солидно кивнул, взял из рук Владимира высохшее платье Софьи, прокашлялся… и вдруг, подняв, как знамя, платье над головой, с места взял в карьер и ворвался в ворота таким галопом, словно за ним гналась стая волков.

– Барышня утопи-и-и-илась!!! – От истошного поросячьего визга, извергнутого Северьяном, у Владимира зазвенело в ушах. Он досадливо поморщился и, вовремя спохватившись, что и ему надо бы изобразить волнение, помчался за Северьяном.

Тот уже стоял посреди двора в толпе людей. Владимир заметил среди окружившей Северьяна грешневской дворни приказчиков Мартемьянова и ускорил шаг, торопясь подойти к ним. Краем глаза он увидел, как сам Федор Пантелеевич хозяйским шагом выходит из господского дома и сердито спрашивает:

– Ну, чего орешь, порося недорезанное? Кто там у тебя утопился? Спьяну примерещилось? Где барин твой? О, Владимир Дмитрич! Где это тебя всю ночь носило? Чего там твой жулик голосит?

Владимир испустил тяжелый вздох, скроил скорбную физиономию и пустился в долгий рассказ о том, как они с Северьяном, обнаружив вчера, что грешневская барышня, за которой они были посланы, тайком убежала в лес, немедленно отправились на поиски; как весь день и полночи пробродили по лесу, крича на два голоса и распугав всех окрестных медведей; как, заблудившись, вынуждены были заночевать на берегу реки и как, проснувшись, обнаружили у самой воды вот это платье.

– Я думаю, Федор Пантелеевич, что она в самом деле утопилась, – сдержанно сказал он, прямо глядя в черные, дикие глаза купца. – Софье Николаевне было семнадцать лет, возраст самый романтический, и ваше неожиданное… м-м… предложение могло потрясти ее настолько, что… То есть все могло быть. Жаль. Красивая девушка была.

– Да что ж это такое, Матерь Божья… Как же это она, дура… – пробормотал Мартемьянов. Через плечо купца Владимир заметил какое-то шевеление на крыльце и увидел, что по широким ступенькам медленно, цепляясь за перила, спускается Сергей Грешнев. Он был в распахнутой на груди рубахе, старых и потертых брюках армейского офицера, взлохмачен, небрит и бледен до зелени. Было видно, что его мучает жесточайшее похмелье. Зеленоватые выцветшие глаза блуждали по двору, не останавливаясь ни на одном лице. Казалось, хозяину Грешневки было совершенно невдомек, откуда взялись на его подворье все эти люди и почему они так кричат.

– Ч-что случилось? – заикнувшись, хрипло осведомился он у Мартемьянова. – Софья до сих пор не вернулась? Что за чер-р-рт…

Закончить он не успел: огромный Мартемьянов одним движением сгреб его за рубаху и, не замечая, как трещит ткань полуоторванного ворота, зарычал на весь двор:

– Ты что, собачий сын, говорил? Ты что, поганка запьянцовская, мне обещал?! Сказывал, что с сестрой все сговорено, что согласная, что рада еще будет хорошей жистью пожить?! Говорил, паскуда, или нет?!

– П-п-позвольте… – дрожал и крутился в его руках Сергей, но это было все равно что угрю выворачиваться из медвежьих лап.

– Деньги, стало быть, взял, а с сестрицей не сговорился?! Жлобство поперек глотки встало?! Да вон она с перепугу помчалась и в реку кинулась! Скотина ты, твое благомордие, вот что я тебе скажу! Кабы я знал – я бы лучше сам с ей уговаривался! Принял вот теперь через тебя еще грех на душу, а думаешь, у меня их мало там?! Отдавай деньги, сволочь! Да на реку мужиков с баграми спосылай, пущай ищут!

– Там очень сильное течение, Федор Пантелеевич, – спокойно возразил стоящий рядом Владимир. – Если искать, то ниже по Угре, за излучиной, и то нет никакой уверенности…

Он прервался на полуслове, спиной почувствовав чей-то упорный взгляд. Обернувшись, Владимир увидел девушку-подростка: загорелую дочерна, с зелеными, как у Софьи, глазами, с острым, скуластым, недобрым лицом и слишком густыми, сдвинутыми на переносье бровями. На ней было поношенное и заштопанное на груди и локтях красное платье, босые ноги были перепачканы в грязи по щиколотку, черные волосы выбивались из небрежно заплетенных кос и отдельными вьющимися прядями падали на лицо и длинную, еще по-детски худую шею. Острые ключицы ходили ходуном от частого дыхания: было очевидно, что девочка недавно прибежала откуда-то. Вся вытянувшись в струнку, сжав кулаки, она стояла у распахнутых ворот и смотрела на Владимира с таким мрачным бешенством, что ему невольно стало не по себе. Ничего девичьего в этом взгляде не было.

– Катерина Николаевна? – неуверенно спросил он, делая шаг к девушке. Та попятилась, не меняя выражения лица; Владимиру даже показалось, что Катерина сейчас выгнет спину и зашипит, как одичавшая кошка. – Доброе утро.

Примите мои соболезнования и… позвольте…

Владимир запнулся, не зная, как быть. Он помнил, что любой ценой должен предупредить Катерину о том, что сестра на самом деле жива и здорова. Но сделать это при Мартемьянове было невозможно, и Владимир рассчитывал под видом утешения тихонько шепнуть Катерине правду. Но через мгновение стало ясно, что утешать эту девочку не придется никому. Отпрыгнув за ворота, Катерина оскалила зубы и хрипло, яростно выкрикнула:

– Сволочи! Все вы сволочи! Ненавижу вас, чтоб вы передохли все, все, все! – и, взметнув подолом красного платья, бросилась прочь. Владимир растерянно смотрел ей вслед.

– Знатно, нечего сказать, – проворчал подошедший Северьян. – Этой барышне пальца в рот не клади. И ругается хуже переулошной… Что делать будем, Владимир Дмитрич?

Что делать, Владимир не знал…

Зажмурившись, хрипло, тяжело дыша, Катерина мчалась через сырой, еще темный лес к реке. Колючие лапы елей хлестали ее по лицу, ветви орешника цеплялись за бьющиеся на спине косы, царапали шею, ноги путались в траве, но Катерина все бежала и бежала – через березняк, через овраг, через болото, через глухие заросли вековых елей – до тех пор, пока не выскочила, задыхаясь и надсадно кашляя, на обрывистый берег Угры. Налетевший с реки ветер охладил ее горячий, влажный от пота лоб, растрепал волосы. Только сейчас Катерина заметила, что больше не плачет, а грудь саднит от сорванного дыхания. Она рухнула как подкошенная на холодную землю и, вцепившись руками в косы, тихо, сквозь зубы завыла. Угра медленно играла перед ней свинцово-серой водой, низко над рекой плыли тяжелые тучи. Холодный ветер трепал кусты ракит, выворачивая наизнанку серебристо-серые листья, морщил поверхность реки, теребил подол красного платья, и Катерина машинально прижимала его ладонью. Остановившимися глазами она смотрела на реку. Слез в этих зеленых, сузившихся глазах не было.

Катерина просидела на берегу реки до самого вечера. Серый день сменился сумерками, со стороны реки приполз туман и опутал берег с кустами, лес

потемнел, на небе в разрыве туч выглянула холодная синяя звезда, и только тогда Катерина поднялась с места и, морщась, начала растирать онемевшие, затекшие ноги. Сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее она пошла в сторону леса.

На скошенный луг рядом с господским домом Катерина вышла уже в полной темноте. Туман стоял почти в ее рост, шевелящиеся седые клубы скрывали узкую тропинку, и Катерина шла наугад, спотыкаясь о кочки и кротовые норы и шепотом зло ругаясь. Холода она не чувствовала, хотя платье ее было насквозь мокрым от росы и прилипало к ногам. Изредка она коротко, нервно вздрагивала всем телом, отбрасывала за спину падающие на лицо волосы и шла дальше.

В доме было темно и пусто – только в верхнем этаже горела свеча. Катерина подумала, что Мартемьянов и его приказчики, вероятно, убрались на постоялый двор или же вовсе отправились несолоно хлебавши прочь из Грешневки. Хмурясь, она кое-как обтерла ноги ветошью, открыла незапертую дверь с выбитыми стеклами и шагнула в опустевший дом.

В комнате Сергея еле-еле чадил оплывший огарок, вставленный в медную кружку, а сам хозяин спал мертвым сном прямо за столом, уронив голову на скатерть. Подойдя вплотную, Катерина втянула воздух носом и с ненавистью поморщилась.

– Скотина…

Сергей даже не шевельнулся. Некоторое время Катерина стояла рядом и смотрела на него. Ее лицо было по-прежнему неподвижным, но из-за неверного света свечи казалось, что оно искажено какой-то странной, злобной гримасой. Было очень тихо, только за печью чуть слышно поскрипывал сверчок, да где-то в сенях осторожно скреблась мышь.

Катерина подошла к окну и подергала щеколду, проверяя, крепко ли оно закрыто. Щеколда держала надежно, и Катерина, прихватив со стола огарок и бесшумно ступая босыми ногами, вышла из комнаты брата. Оказавшись снаружи, она плотно закрыла дверь и приперла ее тяжелым поленом, взятым возле печи. Затем спустилась в большую залу, где сняла со спинки дивана зеленую персидскую шаль, с которой все и началось. Накинув ее на плечи, Катерина встала на пороге комнаты, подняла огарок, осматривая пустую залу. Вьющаяся

прядь снова упала ей на лицо; Катерина отбросила ее и, не оборачиваясь больше, быстро вышла из дома.

На дворе была кромешная темнота. Порыв сырого ветра чуть не потушил свечу в руках Катерины; она поспешно прикрыла его ладонью. Пристроив огарок в углу веранды, она загородила его от ветра обломком доски и торопливо пошла в глубь сада. Вскоре вернулась, волоча за собой несколько тяжелых, крепких жердин, которые Марфа подставляла под клонящиеся к земле ветви яблонь. Закрыв двери, Катерина приперла их жердями; обойдя дом, точно так же заперла дверь черного хода и вернулась на веранду.

Свеча почти совсем погасла и слабо мигала розовым огоньком из растекшейся лужицы воска. «Еще немножко, родная, еще самую чуточку…» – умоляюще прошептала Катерина, беря ее в руки и быстро поднося к углу дома, откуда выбивались клочья пакли. Отсыревшая пакля долго не хотела заниматься, и лишь через несколько минут отчаянных усилий Катерины нехотя замерцала разбегающимися искрами. Катерина шумно, с облегчением выдохнула и по приставной лестнице полезла на чердак, где была солома. Последняя загорелась мгновенно, и Катерина едва успела выскочить с чердака на крышу, проползти на четвереньках по влажному тесу и спуститься по лестнице. Стоя на клумбе и задрав голову, она сосредоточенно наблюдала за тем, как розовеет изнутри маленькое слуховое окно чердака, как по одному выбираются на крышу язычки огня, как они вкрадчиво лижут черные доски, ползут по стенам вниз, где встречаются с охватившим клочья пакли пламенем. На губах Катерины застыла странная улыбка. Глядя на занимающееся пламя, она шептала сквозь зубы: «Господи, миленький, сделай, чтоб из деревни не прибежали… Что тебе стоит, сделай… Пусть сгорит, пусть дотла сгорит…»

Бог услыхал ее молитву: через час дом пылал, весь охваченный огнем, звенели, вылетая, стекла, падали обуглившиеся бревна, сыпались искры, вихрем поднимался черный дым. Толпа прибежавших из деревни людей с ведрами и баграми стояла без движения, с открытыми ртами глядя на пожар: помочь они все равно уже не могли. Двое мужиков держали за руки Катерину, но она не пыталась ни бежать, ни освободиться и все так же молча, пристально смотрела на огонь.

– Ума решилась… – шептали в толпе.

– Барина-то, может, выволочить можно было?

– И кто ж его выволочит? Спал, поди, надравшись, а Катерина Николаевна и… Ох, чертова девка!

– И-и-и, милай, есть ить в кого… Мать-то ихнюю видали вы? То-то, молоды больно, а я видала. Самая что ни на есть татарская каторжная ведьма и была! Мужа порешила и сама утопилась! Вон и девки в нее все до единой!

– Теперича на каторгу пойдет. А жалко, молоденькая-а…

– Гляньте, православные, никак урядник скачет?

Со стороны дороги в самом деле слышался звон бубенчиков и топот лошадей. Несколько человек кинулись отпирать ворота, но в распахнутые створки въехала не всем знакомая рыжая тройка урядника, а пара довольно уставших саврасок, запряженных в легкую коляску. Экипаж еще не успел остановиться, а из него уже выпрыгнула на ходу молодая женщина в дорожной накидке и мелькавшем из-под нее сером атласном платье. Зеленые «грешневские» глаза, бегло скользнув по физиономиям обступивших коляску крестьян, остановились на неподвижно стоящей Катерине.

– Катя! Господи! Как это случилось?! Почему вы ее держите, отпустите немедленно! Где Сергей, где Софья, как они допустили это? Где, наконец, Марфа? Да объясните же мне кто-нибудь! И отойдите от Кати, что это за наглость!

Катерина коротко усмехнулась углом губ, посмотрела на неуверенно держащих ее мужиков, но попытки освободиться не сделала. К молодой женщине приблизился староста – степенный мужик в аккуратной суконной чуйке и с коротко подстриженной седоватой бородой. Его обширная плешь блестела в свете пожара рыжими бликами.

– Никак невозможно их отпустить, Анна Николаевна, – спокойно доложил он, глядя в испуганное лицо старшей сестры Грешневой. – Так что сами изволите видеть, Катерина Николаевна дом сожгли с барином вместе. Опасаемся, что в помешательстве они. Сестрица-то ваша, Софья Николаевна, давеча в Угре утопились, и Марфа без следа пропала, вот и…

Анна коротко ахнула, закрыла лицо руками и без единого звука опустилась прямо на землю, привалившись боком к измазанному в грязи колесу телеги. Отсветы огня прыгали на ее иссиня-черных, уложенных в аккуратную прическу волосах, пальцы мелко дрожали. Староста нерешительно топтался рядом, посматривал на остальных, но все молчали. В доме тяжело рухнула балка, в окно вылетел сверкающий вихрь искр.

– Пустите, сволочи, загрызу!!! – вдруг раздался хриплый крик, и Катерина, вырвавшись внезапно из державших ее рук, кинулась к сестре, обняла ее, прижалась к испачканной дорожной накидке и глухо, тяжело зарыдала. Ее острые лопатки ходили ходуном под красным платьем. В доме упала еще одна балка, и медленно, сыпля во все стороны искры, начала заваливаться внутрь крыша.

– Не успели мы, барин, – медленно сказал Северьян, стоя за воротами и глядя на фейерверк падающих головешек и углей. – Зачем бежали только.

Владимир, стоящий рядом, молча кивнул. Стянул с головы картуз, быстрыми шагами вошел во двор. Не глядя на расступившихся перед ним крестьян, подошел к сестрам Грешневым, нагнулся и спокойно сказал:

– Анна Николаевна, мне надобно с вами поговорить.

Анна подняла голову, и Владимир увидел, как хороша собой эта молодая женщина, красоту которой не смогли испортить даже бегущие из глаз слезы и искаженное страдальческой гримасой лицо. Она крепче прижала к себе рыдающую Катерину, коротко вздохнула, переводя дух, и спокойно, холодно спросила:

– С кем имею честь беседовать?

«Браво», – подумал Владимир. Поцеловать руку Анне он не решился, да это было бы и неуместно. Коротко поклонившись, он сказал:

– Владимир Черменский, капитан Николаевского пехотного полка в отставке, к вашим услугам. Всего несколько слов.

Анна кивнула. В ее мокрых от слез глазах скакали красные искры пожара. Встать она не могла, и Владимир сел на землю рядом с ней. К счастью, их не слушали: из-за ворот послышался звон, свист кнута и бодрый перестук копыт. Теперь это действительно летел на своей тройке рыжих урядник.

Глава 2

Владимир Черменский

Владимир Черменский родился в 1853 году, перед самым началом первой турецкой кампании. Мать его, Ядвига Чеславовна, урожденная Разнатовская, вывезенная генералом Черменским из мятежной Варшавы во время усмирения знаменитого бунта, когда Европа пылала революционным огнем, загремела своей красотой на всю Смоленскую губернию. В Раздольное – имение Черменских – теперь чуть ли не каждый день съезжались гости из соседних деревень, привлеченные красотой молодой барыни, ее свободным светским обращением, обворожительным польским акцентом, умением играть на рояле и мастерством в любых танцах, от мазурки до новомодного вальса. Генерал Черменский не препятствовал жене в ее развлечениях, но сам, пренебрегая вежливостью и добрососедскими отношениями, участия в них не принимал. Его громадная, неповоротливая, как у растолстевшего медведя, фигура в бархатной домашней куртке (фраков генерал не признавал) появлялась перед гостями лишь в самом начале вечера. Генерал долго откашливался, приветствовал присутствующих и в обществе двух-трех близких друзей, таких же старых вояк, удалялся в свой кабинет – обсудить в близком кругу бездарность нынешнего военного руководства России и неизбежно грядущую войну с турками.

Генерал Черменский был почти на два десятка лет старше юной супруги. Ни балы, ни светские забавы, ни книги не увлекали закаленного в боях и дорогах генерала, и свой кабинет и своих друзей он оставлял лишь тогда, когда из гостиной доносилось великолепное меццо-сопрано Ядвиги Чеславовны, исполнявшей модный по тем временам романс «Прощаясь в аллее». Генерал слушал его, не сходя с лестницы, ведущей в верхние покои, опершись на перила, и его темное, обветренное, в ореоле седеющих николаевских бакенбардов лицо с тяжелыми морщинами на лбу и небольшими, ничего не выражающими глазами оставалось неподвижным до конца романса. Затем он дожидался конца

восторженных аплодисментов, спускался, целовал руку смеющейся супруге и, коротко поклонившись гостям, уходил обратно.

В 1853 году после долгих дипломатических перебранок грянула Первая Крымская кампания. В начале октября генерал Черменский был призван в действующую армию и во главе своих полков вторгся в Бессарабию. Молодая жена на пятом месяце беременности осталась в имении в окружении дворовых и нянек. Известие о смерти Ядвиги от родильной горячки и о рождении наследника застало Черменского на Дунае. Ему был предложен короткий отпуск, которого он не принял, поскольку военные действия на дунайском фронте были в самом разгаре. Никакого горя и подавленности боевой генерал не выказывал, и лишь приближенные адъютанты могли заметить, как потяжелел его негромкий, хриплый голос и как мало, еще меньше, чем прежде, стал он разговаривать.

После огромных потерь, полного истощения армии и стоившего невероятных сил падения Севастополя Крымская война закончилась. Мирный договор был подписан весной, в Париже, а в конце лета генерал Черменский вернулся в Раздольное. Сыну Владимиру шел уже третий год, это был здоровый и сильный мальчик, он носился по комнатам и залам огромного особняка, ловко уворачиваясь от нянек, и обществу немца-гувернера предпочитал людскую и конюшню, где у него было множество знакомств. Отец на сына глянул мельком, задержавшись взглядом лишь на светло-серых, Ядвигиных глазах, коротко сказал: «Здоров, пострел, слава богу…» – и на другой же день снова отбыл в армию.

До десяти лет Владимир блаженствовал в Раздольном. Образованием его ни шатко ни валко занимался немец, добродушный и ленивый человек, за пятнадцать лет пребывания в России ни слова не выучивший по-русски, и его единственной стоящей заслугой было совершенное знание Владимиром немецкого и французского. Впрочем, страстью к учению мальчишка не отличался, предпочитая компанию из дворовых, рыбалку, птичьи силки, зимнюю охоту, ружья, гимнастику, в которой силен был его дядька, отставной солдат Фролыч, купание в речке до самых заморозков и санные забавы. Огромное имение в отсутствие хозяина понемногу приходило в упадок, дворовые после грянувшего освобождения разбрелись, сад зарастал, поля пустели, дохода было все меньше и меньше. Отец, вышедший к тому времени в отставку и получивший от правительства одну из высоких должностей в Московском юнкерском училище, в Раздольном бывал редко и только во время каникул. О здоровье и

успехах сына писал ему Фролыч, которому генерал Черменский, кажется, доверял больше, чем немцу. Только когда Владимиру пошел одиннадцатый год, отец приказал отправить его в кадетский корпус.

В кадетах Владимиру не понравилось. Жесткая дисциплина, довольно бездарный педагогический состав, тупая скука на занятиях, скудная еда, поощряемое доносительство и ябедничество среди воспитанников пришлись ему не по душе. Но от придирок педагогов его избавляла широкая известность отца, героя Севастополя и популярного в Москве человека, а уважение товарищей он заслужил после одной из драк, в которой Владимир один избил трех воспитанников второго курса и, вызванный в кабинет директора с разбитым носом и оторванным рукавом, наотрез отказался назвать зачинщиков и причину драки. Трое суток он провел в карцере на хлебе и воде, но зато выносили его оттуда чуть ли не на руках всем училищем, и в первых рядах были те самые второкурсники, которых он разметал по дортуару, как щенков. Больше задирать Владимира Черменского не решался никто.

Именно там, в кадетском, Владимир пристрастился читать. Библиотека в училище была довольно бедной, но в ней имелись Пушкин, Баратынский, Лермонтов, и первым, что попало в руки одиннадцатилетнему мальчику, была «Пиковая дама». Владимир читал ее весь вечер, потом ночь напролет и заканчивал уже при раннем апрельском рассвете, дрожа от страха и возбуждения. После этого он читал запоем уже все, что попадало ему в руки, от русских классиков до разнообразной приключенческой литературы, которую, по его просьбе, покупал ему Фролыч. Непрерывное чтение закономерно привело к тому, что мальчику захотелось писать самому, и он, купив несколько тетрадей и карандашей, взялся за дело. Никто, кроме того же Фролыча, не был посвящен в страшную тайну, но добрый старик считал сочинительство делом бездоходным, опасным и неугодным правительству и восторгов воспитанника не разделял. Впрочем, и не проболтался никому.

К окончанию первого курса Владимиром был закончен роман «Приключения и удивительные путешествия разбойника Аполлона Вербенского». Сей фундаментальный труд занимал более десяти тетрадей и представлял собой нечто среднее между «Тремя мушкетерами» и пушкинским «Дубровским». Сам процесс создания сего опуса очень увлекал Владимира, тем более что его писания в тетрадку были замечены сокурсниками и придавали его образу загадочный и романтический флер писателя. Но, закончив «Аполлона Вербенского» и перечитав его, Владимир со всей очевидностью понял, что и до

Дюма, и тем более до Пушкина ему далеко. Впрочем, его это не сильно расстроило, поскольку на дворе стоял май и близились каникулы. Десять исписанных романом тетрадей были заброшены под кровать в дортуаре и забыты. Более к литературным опытам Владимир не возвращался до самого окончания корпуса.

Запойное чтение не могло не сказаться на аттестате Владимира. Знания по точным наукам не поднимались выше тройки, но зато по словесности и языкам были великолепные отметки, и преподаватели этих предметов ставили воспитанника Черменского в пример всем остальным. Также хвалил его и преподаватель гимнастики, хотя его и приводили в ужас сальто-мортале на брусьях и прочие акробатические этюды Владимира, отлично усвоенные им после того, как летом в их уездном городе останавливался бродячий цирк.

После кадетского корпуса Владимир поступил к отцу в юнкерское училище на Знаменке. Встречая генерала Черменского в коридорах училища, Владимир, так же, как и прочие юнкера, вытягивался в струнку и отдавал честь, а отец не глядя отвечал ему или просто кивал. Ни в стенах училища, ни за его пределами отец и сын Черменские не встречались, да и потребности в таких встречах у Владимира не было: с детства он не испытывал к отцу никаких чувств, кроме уважения. Да и последнее было вызвано скорее заслугами генерала перед Россией, чем влиянием на подрастающего сына.

Условия в юнкерском были посвободнее, чем в кадетском корпусе. Дисциплина там была не менее строгой, но на Знаменке учились уже взрослые юноши восемнадцати-двадцати лет, к которым преподаватели относились с уважением, да и лекции были увлекательнее и интереснее. Строевая муштра не слишком угнетала Владимира, молодое, здоровое и подготовленное тело выносило ее без напряжения, библиотека в училище была великолепной, и довольно быстро Владимир уже сидел в карцере за написанный и пущенный по училищу пасквиль на преподавателя фортификации: пасквиль талантливый, язвительный и очень смешной. Он прошел через руки всех юнкеров и половины преподавательского состава, а после окончания наказания к Черменскому в коридоре подошел преподаватель словесности и искренне поздравил «с началом творческой деятельности», присовокупив, что у Владимира может сложиться блистательная журналистская карьера. Владимир поблагодарил, хотя и был несколько озадачен таким пророчеством: сам он ни о чем подобном не мыслил, поскольку опять приближались каникулы.

Ах, как хорошо было летом в Раздольном! Генерал Черменский на каникулы домой не ездил, предпочитая оставаться на городской квартире, и Владимир наряду с серым кардиналом имения Фролычем был там полноправным хозяином. В хозяйственные дела он не вмешивался, справедливо полагая, что Фролыч все решит гораздо лучше, и лишь изредка выезжал верхом на покосы, жатву или уборку хлебов, кивая с высоты своего аргамака мужикам и улыбаясь молодухам, с одной из которых и свершилось его падение в копну первого июньского сена. Марья была податлива, весела, красива, ни подарков, ни денег не потребовала, еще несколько раз за лето они миловались то в лесу, то в высокой ржи, то в огромной господской риге, а потом муж Марьи отбыл на промыслы, и она уехала вместе с ним, даже не зайдя попрощаться. Узнав об этом, Владимир испытал наряду с легкой досадой сильное облегчение: в глубине души он боялся того, что эта связь получит известность или же Марья забеременеет. Он так никогда и не узнал, что Марья состояла в сговоре со старым Фролычем, уверенным в том, что дитяти лучше узнать все, что нужно, в руках проверенной, чистой, надежной на язык бабы, чем в каком-нибудь городском борделе, где еще невесть кого подсунут под «ребенка».

Впрочем, долго о Марье Владимир не думал. К его услугам было бесконечное, светлое, с короткими голубыми ночами лето, купания в теплой, затянутой по утрам туманом реке, долгие скитания с ружьем по просвеченному солнцем лесу, рыбалка на неповоротливых линей, неподвижно стоящих в темно-зеленых омутах, земляника, грибы, поездки верхом вместе с соседскими барышнями, домашние спектакли, балы… А в июле появился еще и Северьян.

В одну из ночей петровской недели Владимир ночевал в поле, в ночном, зарывшись вместе со сторожащими коней мужиками в стог душистого клеверного сена. Заснул он, как всегда, мгновенно, но почти сразу был разбужен лошадиным ржанием, шумом и руганью. Выскочив из стога под мертвенный свет садящейся за деревенские крыши луны, он едва успел поймать за рубаху пробегающего мимо мальчишку:

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/tumanova_anastasiya/rodovoe-proklyat-e

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити